

A movie poster for the film "His Silence" (Его Молчание). The image features a woman with long, wavy brown hair, wearing a simple, light-colored medieval-style dress, looking down with a somber expression. In the background, a man with long dark hair and a beard, wearing a dark, heavy cloak, stands looking towards the camera. The setting is a dark, gothic-style interior with large arched windows showing a snowy landscape and a distant castle. A fireplace with a fire is visible on the right. The title "ЕГО МОЛЧАНИЕ" is written in large, ornate, silver-colored letters across the middle. Below the title is a decorative flourish with a red gemstone in the center. At the bottom, the name "ЭРИНА ДАРК" is written in a smaller, elegant font.

ЕГО МОЛЧАНИЕ

ЭРИНА ДАРК

Эрина Дарк
Его Молчание

«Автор»

2026

Дарк Э.

Его Молчание / Э. Дарк — «Автор», 2026

В летописях не найти его имени. Княжич Владислав умер в тринадцатом веке — так решили братья, спасая род от церкви. На самом деле он стал другим. Проклятие шамана превратило его в ночного зверя, бессмертного, холодного, опасного. Пятьсот лет одиночества. Замок, снег, тишина. В 1739 году он врывается в турецкий шатёр — и находит её. Девушку без имени, без голоса, без будущего. Её некому спасти. Её некому даже заметить. Кроме него. Не знает, зачем берёт её с собой, не может объяснить, только молча увозит в замок, приносит еду, смотрит в глаза, когда она просыпается в ужасе. Учит говорить, смотреть не боясь удара, читать, жить. Она боится, не понимает, и всё же постепенно — по капле, по взгляду, по случайному прикосновению — учится дышать. Вопрос только в том, хватит ли этой странной привязанности, чтобы не убить её. И хватит ли её тепла, чтобы не дать ему остыть окончательно. Две сломанные души, два пустых взгляда в промозглой зиме, придёт ли рассвет?

© Дарк Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Введение	5
Глава первая	9
Глава вторая	13
Глава третья	18
Глава четвертая	25
Глава пятая	35
Глава шестая	40
Глава седьмая	48
Глава восьмая	55
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Эрина Дарк Его Молчание

Введение

Плеть. Свист, удар — огонь по спине. Я молчал, научился. Крик становился слабостью, а слабых убивали.

Перед глазами всё ещё туман над озером Неро — холодный, плотный, пахнет рыбой и мокрым деревом. Отец стоит на крыльце, рука на моём плече, пальцы тяжёлые, как корни.

— Влад, запомни: не кланяйся. Даже если сломают.

Я запомнил.

Потом была битва на Сити. Я не видел её — мне тринадцать, меня спрятали в обозе. Но я слышал: крик умирающих лошадей, железный лязг, от которого закладывает уши. И тишину после — такую, какую не сотрёшь.

Отца привели в цепях. Я смотрел из-за плетня, зажимая рот ладонью. Монголы говорили что-то на своём гортанном, тыкали пальцами в небо — требовали поклониться их богам. Отец стоял прямо. Даже когда ударили камчой по лицу — стоял прямо.

Он не сказал ни слова. Ни одного. Просто смотрел на них — и на меня. Нашёл глазами за плетнём. Успел качнуть головой: «Не выдавай себя».

Его убили через три дня. Говорят, пытали долго. Я не видел — меня уже уводили.

Монголы пришли за мной ночью. Факелы, ржание, крики баб, бегавших с ведрами, пытаюсь потушить горящую солому. Меня вытащили из-под печи — за волосы, на свет, в круг дрожащих теней.

— Сын князя? — спросил один, с раскосыми глазами и шрамом через всю щёку. — Хорошо. Жить будет.

Я плюнул ему в лицо.

Он улыбнулся. Ударил рукоятью плети в висок. Дальше — темнота.

Очнулся в земляной яме. Сверху решётка, сквозь которую сыплется песок. Запах грязных тряпок, мочи, прелой соломы. Звон цепей на руках и ногах — железо въелось в кожу, стёрло до мяса.

Дни. Месяцы. Годы. Я потерял счёт.

Меня били — по почкам, по рёбрам, по лицу. Резали — проверяли, не бессмертный ли. Жгли калёным железом — на спине до сих пор шрамы, похожие на кору старого дуба. Я не ломался. Сжимал зубы, смотрел в одну точку и вспоминал отца.

Они поняли: плетями и огнём меня не взять. Тогда нашли другое применение.

Загон. Песок под ногами, пропитанный кровью. Крики толпы — монгольские воины, их женщины, дети. Для них забава. Для меня — бой насмерть.

Против меня выводят здорового воина с двумя топорами. Я убил его голыми руками. Сломал шею — хрустнуло, как сухая ветка. Потом другого — с саблей, пробил ему грудину собственной же саблей. Потом третьего — задушил цепью, болтавшейся на руке.

Они боялись меня. Я видел это по глазам, когда меня водили мимо клетки. Дети швыряли камни, но взрослые отводили взгляды.

Восстания начались в 1262-м. Ростов, Ярославль, Суздаль, Владимир — один за другим города сбрасывали ордынское ярмо.

Я выбрался из ямы ночью, когда луна спряталась за тучи. Отжал прутья решётки — пальцы стёр в кровь, но сдвинул. Убил часового — тихо, без крика: зажал рот и свернул шею. Снял с него саблю и ещё тёплый халат.

В ту ночь я сжёг три обоза с данью, которую везли в Орду. Наутро монголы говорили: пришёл Ночной Князь. Они не знали, что это был я — грязный, исхудавший, с цепями на ногах, которые так и не смог сбить до конца.

Братья нашли меня через месяц. Борис — старший, тот самый, кто получил от хана ярлык на княжение. Кланялся, чтобы сохранить землю, но в душе ненавидел Орду так же, как отец. Глеб — младший, прямой, воинственный, рубился с монголами при каждом удобном случае.

Они обняли меня. Не побрезговали вонью, грязью, струпьями на руках.

— Живой, — сказал Борис. Голос дрогнул. — Брат живой.

— Не сломался, — добавил Глеб. Улыбнулся, но глаза были мокрыми.

Я не умел уже улыбаться. Но кивнул.

Дальше были годы войны. Стал сражаться рядом с братьями — в первых рядах, с отцовским мечом, который Борис хранил под половицей. Меня не брали стрелы — я ловил их на лету. Меня не брали сабли — я уходил из-под удара быстрее, чем они замахивались. Монголы кричали, свои — крестились. А я воевал. Баскаки сами породили меня своей плетью, ареной и кровью.

Церковь косилась. Говорили, что во мне бес сидит, но пока я рубил ордынцев — молчали.

Борис ставил прикрывать самые опасные участки. Глеб дрался рядом, спина к спине. Люди прозвали меня Ночным Князем — потому что я всегда появлялся из темноты, из леса, из тумана над рекой. Ударял — и исчезал.

Я не знал тогда, что церковь окажется права.

1262 год. Засада под Ростовом.

Мы шли на сборщиков дани. Монголов оказалось втрое больше. Они ждали нас — знали о вылазке.

Бой был жестоким. Мой меч рубил вправо и влево, стал продолжением руки. Кровь брызгала на лицо, на шею, на гриву коня. Я не чувствовал усталости — только ярость. Только желание убивать их всех, каждого, кто пришёл на русскую землю с огнём и цепями. За отца, за мать, за народ, за годы плена.

Наши войска теснили их к оврагу. Я пробился к шатру — большому, шёлковому, с ханской тамгой на верхушке. Шаман корчился в крови с пробитой грудью моим мечом.

Чёрные глаза, полные ненависти.

— Ты слишком сильный для человека, — прошептал на ломаном русском. Кровь пузырилась на губах.

Он вырвал из груди амулет — волчий клык, мокрый от чёрной, почти смоляной крови. Швырнул мне под ноги.

— Будь же проклят зверем.

Мир лопнул, как перетянутая тетива. Внутри что-то рвануло, загорелось, ломая кости. Я слышал, как трещат позвонцы. Как удлиняются клыки, прорезая дёсны. Как мир наполняется запахами — кровь, страх, железо, пот, трава под спиной, гниль в бороде шамана, соль на моих губах.

Братья стояли в трёх шагах. Борис — с перерубленным плечом, бледный, пахнущий берёзой и конским потом. Глеб — сжимая крест так, что побелели костяшки, пахнущий старой книгой и дымом. Они смотрели на меня. Не отводили взгляда, но не приближались.

Их страх пах горелым миндалём. Я запомнил этот запах навсегда.

Они не выгнали меня сразу. Год, может, два. Я сражался рядом с ними — по ночам, скрывая лицо под капюшоном. Пил кровь животных, которых Глеб приносил в мешках. Борис молчал перед священниками, прятал меня в подклетах церквей, где пахло ладаном и сырой известкой.

Но голод рос. Животной крови становилось мало.

Первого пленного я убил случайно. Сорвал горло, когда он попытался ударить меня ножом. Кровь оказалась горячей, сладкой, живой. Я не мог остановиться. Когда поднял голову — Глеб стоял в дверях, сжимая крест.

Он ничего не сказал. Просто закрыл дверь.

Утром пришёл Борис.

— Ты больше не человек, — проговорил, глядя в стену. Не мог смотреть мне в глаза.

— Я всё ещё твой брат.

— Ты пьёшь кровь, не ешь, не спишь, не молишься. Да пусть это орда, но что дальше, когда война кончится?

Он достал из-за пазухи грамоту — церковную, с печатью епископа. «Изгнать беса из пределов княжества».

Борис долго молчал. Стоял у окна, сжимая в пальцах грамоту так, что воск треснул. Наконец повернулся — не ко мне, в сторону, в угол, где коптила лампада.

— Церковь давно видит, — сказал глухо. — Не все молятся за твоё здравие, брат. Некоторые шлют доносы в епархию.

Глеб за его спиной сжал крест — побелели костяшки.

— Ты думаешь, я не знаю? — Борис поднял на меня глаза. Усталые, красные — не спал ночь. — Как они называют тебя? «Бес», «ночной пёс», «кровопийца». Если узнают, кто ты на самом деле — где родился, чей сын сожгут.

— Не только тебя, — добавил Глеб. Голос сел, будто слова царапали горло. — Нас всех. Княжество сровняют с землёй. Летописцы вычеркнут имена отца, деда, прадеда. Будто нас никогда не было.

Борис шагнул ко мне. Протянул грамоту — я не взял. Тогда разорвал её сам. Полосы пергамента упали на глиняный пол, смешались с соломой.

— Слушай меня, Влад. Мы уничтожим все летописи, где упомянуто твоё имя. Все, какие найдём. Тебя не станет в свитках, в грамотах, в церковных книгах.

— Те, кто помнят тебя, — Глеб шагнул ближе, встал рядом с братом, — рано или поздно умрут. А новые не узнают.

— Только так мы сможем тебя защитить, — закончил Борис.

Он смотрел мне в глаза. Наконец-то. Без страха. Без отвращения.

— Уходи, брат. Так будет правильнее.

Я смотрел на них. На старшего, который нёс на плечах княжество, лавировал между Ордой и церковью, гнулся, но не ломался. На младшего, который рубился с монголами в первых рядах, а теперь стоял с красными глазами и не мог вымолвить ни слова.

— Я не вернусь, — сказал я.

— Знаю, — ответил Борис.

— Но я буду рядом. Всегда.

Глеб отвернулся.

Я вышел не оглядываясь.

Но не забыл. Оберегал, наблюдал всегда. Стоял у двери Бориса, когда он умирал в 1277-м — сжимал меч, слышал его хрипы, чувствовал запах крови и мёда, которым его поили лекари. Держался за ствол сосны, когда хоронили Глеба через год — смотрел, как опускают гроб в землю, как комья мокрой глины бьют по крышке.

Они были последней нитью к человечности. Когда они ушли — нить оборвалась.

За порогом остановился на мгновение. Вдохнул запах княжеского двора — мокрые брёвна, конский навоз, дым из трубы. Запомнил. Навсегда.

Замок в горах, который я отнял у обедневшего боярина. Снег за окном — всегда снег, даже летом на вершинах. Тишина, от которой звенит в ушах. Иногда — чужие крики снизу, когда охотники заходят слишком далеко.

Я стал тенью. Легендой. Страшилкой для детей и пьяных возниц.

Так шли годы. Пока однажды турки не пришли к моему порогу — сожгли деревню у подножия горы, увели девок и скот. Этого я стерпеть не мог. Это была моя земля.

Пошёл по их следу. Нашёл лагерь. И вошёл в шатёр военачальника в ту самую ночь — 1739-го года.

Ночь пахла кровью и гарью. Шатёр турецкого военачальника: там, где ещё недавно пили, играли в кости и хвастались добычей, теперь пахло смертью. Тела лежали вповалку, лужи чёрной жижи растекались по коврам. С опорного столба свисали пустые цепи, звенящие на сквозняке.

Не все они оказались пусты.

В углу, скорчившись, сидела девушка — лохмотья, грязь, спутанные коричневые волосы, падающие до поясницы. Тонкие, как ветки, руки обмотаны верёвкой. Зелёные глаза с карими крапинками смотрели в стену — пустые, мёртвые.

Он хотел пройти мимо — зачем ему ещё один труп?

Но она подняла голову и посмотрела. Не как на врага, не как на чудовище, не как на спасителя. Просто посмотрела. В её взгляде не оказалось страха — бояться уже нечего, потому что внутри она уже умерла.

Он узнал этот взгляд. Сам так смотрел на себя в зеркало пятьсот лет.

Когти вспороли железо, как бумагу. Цепи упали. Подхватил её на руки — почти невесомую, словно перо, просто тень. Плащ накрыл с головой — от ветра, от чужих глаз, от всего, что осталось за спиной.

— У тебя нет имени, — голос низкий, без вопроса. — Я дам его позже. А пока ты просто будешь рядом.

Вышел из шатра в ночь. Не оглянулся.

Конь всхрапнул, переступая с ноги на ногу. Мягкая травяная земля сменила утоптанную грязь лагеря.

В его руках девушка сжалась, замерла. Взгляд по-прежнему ничего не выражал. Только запах гари и металлический привкус на языке — и желание провалиться в беспамятство, чтобы не проснуться.

— Не смотри. — Тихо, но без права отказа.

Ладонь легла на её голову, прижала лицо к ключице. Туда, где не видно трупов. Где нос утыкается в холодную кожу, пахнущую железом и ночным лесом.

Он шёл дальше — шаги ровные, тяжёлые, неспешные. Враги мертвы. Осталась только эта ноша в руках.

— Ты не будешь есть сегодня. Не потому, что не дам. Потому что вывернет.

Перехватил поудобнее, наклонил голову — вдохнул запах спутанных волос. Или просто прижался щекой к макушке? Она не видела. Только холодное дыхание коснулось кожи.

— Домой.

Слово прозвучало странно — не как обещание тепла, а как констатация факта.

Сел на коня, не отпуская девушку. Устроил у себя на груди, под плащом. Слышит ли она сердце? Нет. Оно билось раз в минуту — медленно, тяжело, словно набат под землёй.

Одной рукой натянул поводья.

— Держись.

Сам прижал её ладони к своей груди, накрыл сверху своей ладонью — чтобы не упала. Чтобы поняла: не упадёт, пока он держит.

Конь сорвался с места. Ночь, ветер, звёзды. Замок вдалеке — чёрный клык, вонзившийся в небо.

Глава первая

Воздух оказался свежим, холодным и слишком быстрым — конь нёсся, не сбавляя шага. Голова кружилась от ледяного ветра, глаза слезились, веки тяжелели. Шок понемногу отступал, уступая место обессиленной пустоте. Девушка вздрагивала от каждого движения всадника, но тело само отключалось, проваливаясь в спасительное забытье. Она уснула.

Владислав чувствовал, как её тело обмякает. Хватка на его груди слабела, дыхание становилось глубже. Прямо в его руках, на бешеном скаку.

Это хорошо. Сон сейчас — единственное лекарство.

Не сбавлял скорости, но рука, которая держала её ладони прижатыми к его груди, скользнула выше — на спину, придерживая, чтобы не соскользнула. Плащ натянулся туже, укрывая почти полностью. Только макушка торчала наружу, и ветер трепал спутанные коричневые пряди.

Замок возвышался вдалеке — тёмный шпиль, пронзающий небо. А мысли всё возвращались к живой душе в беспамятстве на его руках.

Зачем взял?

Она слишком лёгкая, тихая, сломленная. В ней не осталось ничего, что могло бы пригодиться. Ни силы, ни злобы, ни даже страха — только пустота, которую он узнал слишком хорошо.

Почти пять веков он проходил мимо таких. Иногда помогал умереть быстрее или не замечал вовсе.

Но эта подняла голову, посмотрела пустыми глазами. Там не было надежды, страха, ужаса перед чудовищем — даже крохотной искры о спасителе. Слишком знакомый взгляд, тот самый, что порой смотрел на него из зеркала. Наверное, в этом и крылся ответ.

Везти тебя больше некому.

Глубокая ночь встретила их у замковых ворот. Влад спешил, не тревожа сна девушки. В холле уже суетился слуга — старик с седыми висками и дрожащими руками, который знал, что вопросы к господину стоят жизни. Достаточно одного взгляда, брошенного из-под нахмуренных бровей: слуга подхватил поводья и исчез в темноте конюшни, не проронив ни звука.

Замок хранил вековую сырость. Каменные стены дышали холодом, ступени лестницы казались вырубленными из глыб льда. Влад нёс свою ношу мимо факелов — их свет плясал на лице, выхватывая острые скулы, глубоко посаженные глаза, жёсткий изгиб губ.

В господских покоях воздух оказался теплее. Камин давно растопили, дрова прогорели до алых углей, но тепло ещё держалось. Опустившись на колени у широкой постели, застеленной медвежьими шкурами, осторожно — словно перед ним было не тело, а хрупкое стекло — уложил девушку. Ни раздевания, ни укутывания — только пара движений, чтобы поправить шкуру, прикрыв её до подбородка.

Влад сидел на полу, прислонившись к деревянной спинке кровати. Руки легли на согнутые колени, взгляд ушёл в огонь.

Почти пятьсот лет, — подумал он. — Я никого не приводил сюда.

Не оттого, что не мог, не хотел. Замок стал клеткой, тюрьмой, убежищем — но не домом. Дом кончился там, за сосной, когда комья глины ударили в крышку гроба Глеба.

Память — несговорчивая спутница. Вытаскивала наружу прошлое, которое он предпочёл бы забыть. А потом были попытки. И каждая — как шаг по тонкому льду.

—

Вступал в права 1284 год, шесть лет со смерти братьев.

Ей шёл двадцать первый год. Светлые волосы заплетены в тугую косу, глаза — голубые, почти белые на солнце — смотрели на мир с тихим любопытством.

Первая встреча случилась на базаре в соседней деревне. Сначала учуял запах: свежий хлеб, васильки и что-то неуловимо тёплое, отчего сердце, давно забывшее, что значит биться, дрогнуло впервые за десятилетия. Подходить не стал. Только смотрел издали, прячась в тени навеса.

Начались редкие встречи — раз в седмицу, иногда реже. На базаре бродил между рядами, делал вид, что выбирает товар. За прилавком стояла девушка, торговавшая холстами, — поправляла выбившуюся прядь, улыбалась покупателям. Однажды их взгляды встретились. Первой не отвела глаз именно она.

Разговор начал осторожно — как если бы ступал на тонкий лёд. Спросил о цене, качестве, долго ли везли и откуда. В ответ прозвучал низкий, чуть хрипловатый голос — такой, который хочется слушать долго.

Следующие полгода шаг за шагом сближался. Не торопил, не навязывался. Мог промолчать всю встречу, только слушать её рассказы о деревне, о братьях, о глупом петухе, который будит всех затемно. Смеялась легко, беззаботно, и в эти мгновения он почти верил, что проклятие отступает.

Всё рухнуло в один вечер.

Возвращался из леса затемно — услышал крики раньше, чем увидел огни. Разбойники. Трое, а может, четверо — не считал. Она стояла на коленях в грязи, с разбитой губой, а один детина уже задирает подол, тянул грязные лапы к светлой девичьей коже.

Влад не думал — бросился между ними.

Первого убил, даже не заметив: шея хрустнула под пальцами, тело обмякло ещё до того, как коснулось земли. Второго встретил когтями — удар пришёлся в грудь, потом в лицо, без разбора, лишь бы остановить. Третий побежал — зря. Короткий рывок, хватка за плечо — и всё.

Только тогда обернулся.

Она смотрела. Те же голубые глаза — но тепла в них не осталось. Только ужас, тот самый, что он видел у братьев века назад. Запах страха — горелый миндаль — ударил в ноздри.

Пальцы всё ещё в крови. Когти не втянулись. Глаза — чёрные, без белка, без зрачков — смотрели на неё с лица, которое она не узнавала. Он забыл, как выглядит, когда выпускает зверя.

— Ты бес, — сорвалось с девичьих губ. Осипших, пересохших.

Влад сделал шаг вперёд, протянул руку — ту, что ещё дымилась чужой кровью.

Она закричала — без звука.

Рот раскрылся в беззвучном оскале, глаза расширились так, что стали похожи на две трещины в мироздании. Слёзы хлынули ручьями — молча, без всхлипов. Она пятилась, спотыкалась о корни, падала, вскакивала — и снова пятилась, не сводя с него обезумевшего взгляда.

— Не подходи! — выдохнула наконец. Голос сел, превратился в хрип. — Не подходи, проклятый!

Замер. Рука так и осталась висеть в воздухе — пустая, окровавленная, ненужная.

Она сорвалась с места. Бежала не разбирая дороги — через кусты, через канавы, через сухие ветки, хлеставшие по лицу. Бежала от чудовища, проклятого богами, от того, кого ещё утром называла спасителем.

Влад не двинулся следом. Стоял и смотрел, как исчезает в темноте её светлая коса, мелькает последний раз — и пропадает навсегда.

Виноватым чувствовал только себя. В ту деревню больше не ступал — целое столетие обходил стороной, даже когда дорога вела только через неё.

Минуло более семи десятилетий. На границе с Ростовским княжеством, куда забросила тоска по братьям, встретил её. Волосы рыжие, до пояса, в косе толщиной с руку. Глаза зелёные,

как мох на старых пнях, с золотыми крапинками. Упрямый подбородок, веснушки через всё лицо. Лучик под стать имени — Заряна.

Наученный горечью, решил не приближаться. Лучше сразу показать зверя, чем потом ловить испуганный взгляд и шёпот «бес».

Но Заряна подошла сама.

— Откуда путь держишь, странник? — спросила. В голосе — ни страха, ни заискивания, одно любопытство. — Надолго ли в наших краях?

— Проездом, — ответил коротко, давая понять, что разговор окончен.

Она не уходила. Стояла рядом, теребила край платка.

— А в Твери бывал? Сказывают, церковей там — не счесть. А в Ярославле? А на Москве?

— Бывал.

— И как оно? — глаза загорелись. — Люди там другие? Говорят, бояре в соболях ходят, а купцы заморские ткани возят. Я нигде не была, только по холстам и знаю, что за околицей.

Осадил жёстко, не надеясь, что поймёт.

— Держись подальше от меня. Беды наживёшь. Проклят я.

Она удивилась — брови взлетели вверх, но шага назад не сделала. Вгляделась в лицо. Хмурое, с глубокими тенями под глазами, с морщинами, которых не должно быть у такого молодого с виду. Покачала головой.

— Не похож ты на злого. Вон вечером старикам с телегой помог. Никто больше не подошёл, а ты подошёл. Помог.

Пытался обходить её стороной — менял тропы, уходил в чащобу, возвращался, когда деревня уже спала. Но Заряна словно чуяла. Находила на околице, провожала взглядом из-под ладони, подходила с вопросами, на которые не ждала ответов. Её любопытство оказалось сильнее моей глухой тоски.

Однажды не сдержался — схватил за плечо, развернул к себе, заглянул в глаза чёрными, без белка, без зрачков, теми самыми, от которых бегут.

— Видишь? — голос сорвался на рык. — Проклятый. Бес. Чудовище. Оставь меня в покое.

Заряна не вскрикнула. Только побледнела — кровь отхлынула от щёк, оставив веснушки сиротливо темнеть на белой коже. Но глаз не отвела. Помолчала. Потом сказала тихо, но твёрдо, как отчитывают упрямого ребёнка:

— А я в учение верую: «Не судите, да не судимы будете». Только Богу решать, кто плохой, а кто нет. А ты не похож ты на того, кто сам выбрал тьму.

Я опешил. Так мне не говорил никто — ни братья, ни священники, ни те, кто швырял камни вслед. Молча отпустил её плечо и ушёл в лес. В ту ночь не пил — просто сидел под сосной и смотрел на звёзды, пытаюсь понять, почему она не бежит.

Через седмицу застала на охоте: я стоял на коленях в снегу, припав к вспоротой шее оленя. Губы в багровых разводах, лицо бледное, глаза закрыты. Услышал хруст ветки — резко обернулся. Заряна замерла за деревом, вцепившись в кору побелевшими пальцами. Сердце её колотилось — слышал даже отсюда. Ладони вспотели, запах соли ударил в ноздри.

Она не побежала.

Сделала шаг. Потом другой.

— Влад, — позвала тихо. Голос дрожал, но не срывался.

Выпрямился, вытер рот тыльной стороной ладони. Бесполезно — скрывать больше нечего.

Подошла ближе — осторожно, как к раненому зверю, — протянула руку, коснулась щеки ледяными дрожащими пальцами, вытерла кровь у уголка губ. Я смотрел в её глаза: в них не было ужаса. Только страх — но не тот, что пахнет миндалём, иной, солёный.

— Ты голоден, — сказала не вопросом. — Иначе не стал бы.

— Не боишься? — спросил хрипло. Голос чужой, не мой.

— Боюсь, — призналась она. Губы дрогнули в подобии улыбки. — Но боюсь больше того, что ты уйдёшь и никогда не вернёшься.

В ту зиму я остался. Прожил в деревне год — первый год за столетия, когда у меня появился дом. Не замок — изба на окраине, пропахшая сушёными травами и тёплым хлебом. Заряна стелила постель, ставила ужин на стол, поправляла фитиль в лампаде. Молчала — или говорила о пустяках: о погоде, соседях, лисе, которую видела на лугу. Я слушал этот тихий голос, смотрел, как двигаются её руки, и почти поверил, что счастье возможно. Не отнимала руки, льнула, когда обнимал.

Через год Заряна занемогла. Слегла в одно утро — проснулась, а встать не смогла. Лекари из соседней деревни разводили руками, шептали «божья воля», отворачивались к двери. Я уехал за травами — в город, за три дня пути. Редкие коренья, которые не растут в наших лесах. Обещал вернуться через седмицу.

Вернулся на пятый день — сердце не дало ждать дольше. Чувало беду.

Тишина встретила меня на въезде — не та, утренняя, со звоном колоколов и петушиным криком, а мёртвая. Даже ветер не шевелил ветки. А потом пришёл запах.

Я знал этот запах. Как тогда, когда сгорела первая деревня. Только тогда пахло пеплом и сырым мясом. Здесь — гарь, горелая шерсть и что-то сладковатое, от чего тошнит и кружится голова.

Пепел лежал на земле серым снегом. Обугленные брёвна торчали из чёрной грязи, как рёбра дохлой скотины. Церковная луковица провалилась внутрь, дымилась. Я шёл мимо — не считая, не запоминая. Искал одно.

Заряну нашёл у колодца.

Она лежала на боку, поджав колени к животу — так спят дети, когда боятся темноты. В руках — крест. Тот самый, что я подарил ей на первый год. Деревянный, грубой работы, с неровными краями. Я сам вырезал его ночью, при свете лучины.

Не выдержал, отвернулся. Ударил кулаком в стену колодца — доски треснули, брызнули щепки, осыпались камни.

Я не успел на одну зарю. Всего на одну.

Если бы не ездил за этими травами. Если бы не слушал лекарей. Если бы остался — умер бы рядом. А так — живу. И она мертва.

Не помнил, как поднялся, нашёл следы — примятую траву, угли ещё тлеющего костра, брошенную подкову. Ноги сами понесли в лес, по старой дороге, где телеги возили дань.

Нагнал их через два перехода.

Отряд — полсотни всадников, с обозами, с пленными. Монголы. Те же лица, что когда-то жгли мою землю, убивали отца, пытали меня в яме. Те же гортанные крики, тот же запах конского пота и кумыса.

Первого убил, даже не заметив — сломал шею, когда он спрыгнул с коня за нуждами. Второго — когтями, в горло, не дав вскрикнуть. К третьему вышел из темноты, глядя прямо в глаза. Он успел выхватить саблю — и упал с ней, разрубленный собственной же сталью. Они кричали, звали на помощь, молились своим богам. Мне не было дела до их богов, я ещё помнил её запах, смех, звучавший в горнице.

Под утро от отряда осталась только кровавая каша на снегу.

Тогда я поклялся: больше никого. Ни одной души. Лучше быть чудовищем в одиночестве, чем приносить смерть тем, кто смотрит с теплотой.

Глава вторая

Влад бросил взгляд на спящую. Её дыхание — тихое, прерывистое — напоминало шорох листьев под снегом. Девушка не металась, не звала мать, не всхлипывала. Просто лежала, сжавшись в комок, и занимала так мало места, что казалась случайной вещью, забытой на постели.

Такая же пустая, как я тогда. После шамана. После братьев.

Отвернулся к камину. Угли дышали жаром, но до него тепло не доходило — никогда не доходило.

—

В замке царила тишина. Не мёртвая, а живая — такая, что умела шевелиться, перетекать из щели в щель, прятаться за портьерами и выползать, когда никто не ждёт.

В полуподвальном этаже, где располагалась кухня, горел единственный жирник. Повариха Марфа — грузная женщина с седыми прядями, выбившимися из-под платка — месила тесто для утренних лепёшек. Руки двигались размеренно, без лишней спешки: сорок лет службы в замке приучили не суетиться. Время здесь текло иначе, и Марфа давно перестала ему перечить.

Для кого пекла — неведомо. Хозяин не прикасался к еде, никогда. Она знала это, как знала, что по утрам из его покоев не доносится ни звука. Проклятый, шептались в деревне. Бес. Марфа не любила этих слов. Если хозяин и проклят, то проклятие его — молчаливое и гордое, не чета той чертовщине, о которой судачат за воротами.

Дворецкий Лука — сухой, сгорбленный старик с лицом, напоминавшим печёное яблоко — вошёл бесшумно, как умел только он. Остановился у порога, сложил руки на животе.

— Принёс, — произнёс не то спрашивая, не то утверждая.

— Принёс, — кивнула Марфа, не поднимая головы. — Девчонка — кожа да кости. Еле живую из лагеря выволок.

Лука помолчал, потом подошёл ближе, понизил голос:

— Ты помнишь прошлый раз? Когда хозяин приводил

— Помню, — оборвала Марфа. Тесто под её кулаками закрипело. — Только то был мужик раненый. Выходил его, между прочим. Год прожил у нас, пока окреп. Сам ушёл потом.

— А до того?

Повариха подняла голову. Выцветшие, но цепкие глаза впились в Луку.

— До того было другое. То дело — не наше. Наше — кормить, убирать, молчать. И ты молчи, старый.

Лука вздохнул, поправил ворот камзола.

— Я молчу, Марфа. Но люди-то бают. — Помолчал, понизил голос до шёпота, почти неразборчивого за треском жирника. — Сказывают, хозяин-то не просто гостью привёз. Будто саму смерть обманул, из пекла вытащил. А девка та — неживая будто. Мёртвая, а идёт.

— Пустое, — отрезала повариха, но голос дрогнул.

— Пустое или нет, а молодые умы чего доброго натворить могут. — Лука покачал головой, покосился на дверь, за которой темнел коридор. — Сама знаешь: Ильяна уж который день белая как полотно ходит. Алина помалкивает, но вижу — боится. А страх, он хуже ножа. Наделают глупостей, хозяин и прогневается.

Марфа замерла. Руки на мгновение остановились, вцепившись в край стола.

— А коли прогневается, — продолжил Лука, не глядя на неё, — сама ведаешь, чем то кончается. Не дай Бог, конечно. Но ты бы с ними поговорила. По-свойски, по-бабьи. Чтобы языками не мололи, где не надо. А то неровен час

Он не договорил. Махнул рукой, словно отгоняя морока.

Марфа молчала долго. Потом вытерла руки о передник, тяжело вздохнула.

— Ладно, старый. Скажу им. А ты смотри — сам не балакай лишнего. Неровён час — обоим не сдобровать.

Лука поклонился — низко, по-старинному, касаясь пальцами пола.

— Как скажешь, Марфа. Как скажешь.

И бесшумно вышел, оставив повариху одну. Она постояла у печи, глядя на огонь, потом перекрестилась мелко, быстро — так, как крестятся, когда чувствуют беду, но не хотят её называть.

—

На верхнем этаже, в людской, где ютилась прислуга помоложе, шёпот звучал иначе — торопливый, сбивчивый, со страхом, который прятали за стенами кухни.

— Кожа да кости, — прошептала Арина, прижимаясь к подруге на узкой лавке. — Чужая, грязная. Сама не своя вовсе.

Ильяна — круглоглазая, бледная, с руками, которые никак не могли найти покоя — сидела рядом, теребя край передника. Голос её дрожал.

— А вдруг господин её сгубить решил? Слышала, что про него бают? Бес, говорят. Ночной пёс. И турки уже измучили девку, а теперь — Она запнулась, глотнула воздух. — Господи, спаси и сохрани. Меня-то саму за что сюда занесло? Брат помер, отецпил горькую, мать одна с тремя малышами. Поди не прокормишься. Хоть здесь сыта. А если он и до нас доберётся?

Арина резко дёрнула подругу за рукав.

— Тише, Ильяна! Услышит кто — вылетим в шею. Или хуже.

— Куда хуже? — Ильяна зашептала ещё тише, но паника не уходила — пряталась в каждом слове. — Два месяца здесь, два! Денег ещё не накопила. А если он

— Он, — Арина перебила, но голос уже не казался таким уверенным, — уже тридцать лет не трогал никого из прислуги. Слышишь? Тридцать. С тех пор как Лука здесь. Старики говорят — тогда поклялся себе. Или не себе. Не знаю. Но слуг не трогает.

— А девчонку зачем приволок? — не унималась Ильяна. — И за что? Чем она хуже нас?

Арина открыла рот, но ответить не успела.

Дверь скрипнула. В проёме показалась третья служанка — Алина. Высокая, с тяжёлой русой косой, перекинутой через плечо, и взглядом, который не терпел пустых разговоров. Она вошла не спеша, прикрыла за собой дверь и скрестила руки на груди.

— Чего расшумелись? — спросила негромко, но так, что Арина и Ильяна притихли. — Я за стенкой всё слышала. И про девку, и про господина.

Арина виновато потупилась. Ильяна вытерла нос рукавом, всхлипнула.

— Алина, ты ж сама знаешь, каково нам — начала было Арина.

— Знаю, — оборвала та. — Знаю, что вы обе языкастые сверх меры. А теперь слушайте сюда и запоминайте, чтобы больше не повторять.

Она шагнула в комнату, села на лавку напротив, положила руки на колени — хозяйским жестом, хотя и сама была такой же прислугой, как они.

— Лука сказывал: коли не гневать господина — не тронет. Он справедливый, покуда не перечить. И платит лучше любого другого. Вы хоть у кого столько видели? — Обвела их взглядом. — Молчите? То-то. А работа в замке — не бей лежачего. Убрать, постелить, свечи зажечь. Нешто на барщине надрываете?

— Да мы не к тому, — попробовала оправдаться Ильяна.

— А к тому, — Алина не дала договорить, — что язык без костей. Наговорят с перепугу, а потом бегают, оглядываются. Бес, не бес, а пока он нас не тронул — и слава Богу. А девку принёс — стало быть, зачем-то она ему нужна. Не наше дело — зачем. Наше дело — молчать и делать, что велят. Заработаете — уйдёте. Нет — сидите тихо.

Арина вздохнула, поправила платок.

— И то верно, — сказала устало. — Ладно. Угомонились.

Ильяна ещё раз шмыгнула носом, но спорить не стала. Кивнула.

Алина поднялась, одёрнула юбку.

— Вот и ладно. А теперь спать давайте. Завтра рано вставать.

Она направилась к выходу, но у двери задержалась, обернулась через плечо.

— И ещё, — добавила тише. — Девку ту жалко. Верно. Только жалость — она без толку, коли помочь нечем. А если и вправду ей тут лучше будет, чем у турок в плену? Подумайте-ка. И вышла.

Арина и Ильяна переглянулись. Помолчали. Потом Ильяна тихо сказала:

— Может, и правда. Нешто мы знаем.

Арина погасила свечу. Комната утонула в темноте.

—

Владислав сидел на полу, не двигаясь, не смыкая глаз. До него доносилось всё: шёпот на кухне, испуганное дыхание горничных, скрип половиц под ногами Луки. Слышал — и не придавал значения. Пусть говорят, пусть боятся. Ему не впервой.

Взгляд ушёл в камин, к догорающим углям. Ждал.

Ночь тянулась медленно, но всё же уступила рассвету. Серый, холодный, он пополз по небу, разгоняя тьму за окнами. В камине последние угли дышали жаром — и затихали, превращаясь в пепел. Влад не шелохнулся. Сидел, прислонившись спиной к деревянной спинке кровати, и смотрел, как умирает огонь.

Рассвет коснулся её лица — серый, холодный, безжалостный.

Веки дрогнули. Глаза открылись.

Секунда — и память вернулась. Не вся, не целиком — кусками, осколками: запах крови, звон цепей, темнота шатра. Потом — руки. Холодные, сильные, подхватившие и понёсшие в ночь. Тьма, ветер — и вот теперь это. Мягкое, тёплое, пугающее.

Кровать.

Господская кровать.

Животный ужас скрутил внутренности раньше, чем мысль успела оформиться в слово. Села — резко, неловко — и тут же сползла с постели, падая на колени. Ладони сами нащупали холодный пол, лоб коснулся досок. Спина выгнулась в низком поклоне — том, которому учат с малых лет, чтобы раб не смел смотреть господину в глаза.

— Простите, — выдохнула одними губами. Сорванно, беззвучно, как учили. — Простите, господин. Не надо бить. Я не знала. Я не хотела. Я больше не буду.

Слова лились сами — заученные, пустые, без капли надежды. Вперемешку с русскими проскальзывали турецкие: «аффердим», «яраббым» — простите, господин, помилуйте. Те самые, что вбивали плетью долгие годы. Она уже не различала, на каком языке молит о пощаде. Тело помнило главное: если раб посмеет коснуться господской постели — последует удар. Или нечто худшее.

Девушка замерла в ожидании.

Влад слушал, не перебивая. Среди сбивчивого, полусорванного шёпота улавливал знакомое: «яраббым», «аман» — пощади, «тёбек» — постель. Турецкий знал давно — как и монгольский, и десяток других языков, успевших родиться и умереть за его долгую жизнь. Но сейчас важнее было не то, что она говорила, а как.

Голос дрожал, срывался, но не затихал. Она не просто просила — отчитывала заученный урок, вбитый в неё годами. Словно молитву, словно заклинание.

— Я не ударю тебя, — произнёс тихо, но твёрдо. — Никогда. Ты поняла?

Молчала. Плечи продолжали дрожать, пальцы скребли половицы.

Влад медленно опустился на корточки, оказавшись на уровне её макушки. Не касался, не торопил.

— Аман, — выдохнула в пол. — Яраббым, не надо

— Я тебя не трону, — повторил, теперь на турецком. Чисто, без акцента, как человек, проживший на этом языке сотни лет. — Сен инжилме. Сени кимсе инжитмез. Ты не рабыня. Здесь никто тебя не тронет.

Помолчал, давая словам осесть.

— Если хочешь, говори по-русски, — добавил мягче. — Я пойму. И тебе так будет легче.

Вытянул руку, но не коснулся — положил ладонь на пол рядом с её пальцами. Достаточно близко, чтобы почувствовала холод, но не настолько, чтобы прикоснуться без позволения.

— Посмотри на меня, — попросил. Не приказал.

Долгое, тягучее молчание. Потом подняла голову.

Глаза — зелёные с карими крапинками, те самые, что смотрели пустотой в шатре, — теперь наполнились иным. Не страхом: тот она выплакала годы назад. Это оказалось ожиданием боли. Знанием, что боль придёт обязательно, потому что иначе не бывает.

Влад узнал этот взгляд. Слишком хорошо узнал.

Пятьсот лет назад, в монгольском плену, такие же глаза смотрели на него из соседних ям. Сломленные рабы, которых кормили раз в три дня и гоняли плетью до костей. Не просили пощады — ждали смерти. А когда их выводили на солнце, шурились, как слепые котята, и не верили, что воздух может быть тёплым.

Он помнил одного — старика с седой бородой, которого монголы заставляли чистить конюшни голыми руками в зимнюю стужу. Тот никогда не плакал, не молил о пощаде. Просто делал, что велят, и смотрел в одну точку. Через три месяца нашли мёртвым — застывшим в той же позе, с открытыми глазами.

Этот взгляд Влад носил в себе до сих пор.

И сейчас видел его снова — в девушке, которая лежала на полу его спальни.

— Ты в моём доме, — сказал просто. — Здесь тебя никто не тронет. Никогда. Запомни это.

Молчала. Не кивала, не благодарила. Просто смотрела и ждала. Рабыня не верит словам — верит только ударам. А ударов не было.

— Я дал тебе имя, — продолжил Влад. — Молчание. Ты не обязана его принимать. Но пока ты здесь — я буду так тебя называть.

Губы дрогнули. Не улыбка — движение почти рефлекторное, без участия воли.

— Господин — голос сел, пришлось начинать заново. — Господин, что мне делать?

Вопрос рабыни. Не «почему я здесь», не «кто вы», не «зачем меня спасли». Только: «что делать». Какая работа, какая обязанность, чем откупиться за право дышать.

Влад выпрямился, сделал шаг назад, освобождая пространство.

— Сейчас — встать с пола, — сказал. — Потом — пойти со мной. И есть. Всё остальное — потом.

Поднялась — медленно, неуклюже, держась за стену. Ноги затекли, колени дрожали. Глаза не поднимала выше его подбородка. Руки висели вдоль тела безвольно, как плети.

Влад не добавил больше ни слова. Развернулся и пошёл к двери, не оглядываясь. Шаги — ровные, неспешные — застучали по каменным плитам.

Она двинулась следом. Тенью самой себя — бесшумно, не поднимая глаз, держась на расстоянии, чтобы не наступить на пятки. Так ходят за хозяином, когда боятся удара сзади. Так она ходила годами.

Владислав слышал её шаги — лёгкие, почти невесомые, словно она старалась занимать как можно меньше места. В груди что-то сжалось. Не жалость — та давно выгорела. Злость. Глухая, беспомощная.

Сжал кулак так, что когти впились в ладонь. Кровь — свою, чёрную, густую — почувствовал, только когда она капнула на камень.

Разжал пальцы. Пошёл дальше, не оглядываясь.

Он не сломался тогда. В монгольской яме, под плетями, на арене. Стоял, даже когда падал. А она — сломана. Раздавлена. Выжжена изнутри.

И в то же время понимал: другого пути нет. Сейчас она могла быть только тенью. Любая попытка заговорить, приблизиться, заставить смотреть в глаза — только глубже загонит в страх.

Зачем её взял? Зачем привёз в этот холодный замок, где и сам не чувствовал себя живым?

Провёл ладонью по лицу. Посмотрел на свои пальцы — те, что пятьсот лет назад вытащили её из цепей. Ни ответа. Ни даже вопроса, с которого начинается ответ.

Только тишина.

Глава третья

Первые дни она провела в покоях, не шевелясь. Сидела на краю постели, где оставил господин, и ждала. Ждала приказа, удара, работы — чего угодно, что объяснило бы, зачем она здесь. Никто не приходил. Тишина тянулась час за часом, и вместе с ней росла глухая незнакомая тревога.

Бездействовать она не умела. В рабстве каждое мгновение имело назначение: мыть, таскать, чистить, стоять с опущенной головой, пока господин проходит мимо. Отсутствие работы означало одно — наказание грядёт. И она замирала заранее, вжимая голову в плечи, готовясь к удару. Удара не случилось. Не случилось и работы. Эта неизвестность оказалась страшнее плети.

Есть не просила. Голод скручивал желудок уже ко вторым суткам, но просить она не умела. Рабыня ждёт, когда дадут. Если не дают — не заслужила.

Влад замечал. Видел неизменную позу — ту же, что утром, — и нетронутый кувшин с водой, который Марфа предусмотрительно поставила у двери. Видел, как вздрагивает, когда он проходит мимо, но не поднимает глаз. Её состояние читалось слишком ясно: пятьсот лет назад он сам сидел так же в монгольской яме. Только в нём тогда клокотала ярость, а в ней зияла пустота. Эта пустота злила его сильнее, чем хотелось бы признать.

Зачем я её приволок? — спрашивал себя снова и снова. — Сидела бы в шатре, дожидаясь смерти. Я не хозяин, не спаситель. Я не умею с людьми.

На третью ночь вспомнил, что ей нужна еда.

Вспомнил посреди темноты, глядя на догорающие угли. Люди едят каждый день. Она слабая, худая до прозрачности — ей нужно есть чаще, чем обычному человеку. Выругался сквозь зубы, поднялся и спустился на кухню.

Марфа, поднятая с постели, молча собрала поднос: хлеб, варёное мясо, кружку молока, печёное яблоко. Влад поднялся обратно, толкнул дверь — и замер на пороге.

Она спала. Вернее, не спала — дремала сидя, привалившись спиной к стене. Голова упала на грудь, колени подтянуты к животу, руки сложены поверх, будто защищали внутренности от невидимого удара. Поза, знакомая до дрожи: так спят рабы — вполглаза, вполслуха, готовые вскочить по первому окрику.

Медленно, стараясь не звякнуть посудой, поставил поднос на стол. Отступил к двери. Задержался на мгновение, глядя на сжавшуюся фигурку в углу постели, и вышел, притворив створку.

Наутро поднос стоял нетронутым.

Хлеб зачерствел. Молоко подёрнулось плёнкой. Яблоко потемнело, осело внутрь, будто съёжилось от старости. Она сидела в прежней позе — прямая спина, руки на коленях, взгляд в пол.

Влада захлестнула злость — глухая, несправедливая. Сжал зубы, шагнул к столу, уже открыл рот, чтобы рявкнуть — но осёкся. Замер над подносом, глядя на зачерствевший хлеб, на нетронутое яблоко — и вдруг понял.

Память выдернула его на пять веков назад. Земляная яма, запах прелой соломы, звон цепей. Ему тринадцать или четырнадцать — счёт дням давно потерян. Монголы бросили в яму кусок лепёшки, чёрствой, с песком, и он, обезумевший от голода, потянулся раньше, чем позволили. Били долго, методично, с оттяжкой — плетью по спине, по рёбрам, по ногам. «Раб не берёт, раб ждёт», — вдалбливали на ломаном русском. Запомнил. До конца жизни.

Воспоминание истончилось за пять столетий, выцвело, как старая ткань — лица не разглядеть, голоса звучат глухо, будто сквозь воду. Боль осталась. Не та, что рвала тело, — ту помнят только шрамы, до сих пор белеющие на спине под рубахой. Осталась другая, глубже:

память о том, как перестаёшь быть человеком и становишься вещью, которая ждёт позволения дышать.

Знал, почему она не притронулась к еде. Знал каждой зарубцевавшейся полосой на собственной шкуре. Эта девчонка просидела без крошки во рту не из гордости и не из глупости — ей не приказали.

Влад глубоко вдохнул — ровно, размеренно, как учил себя столетиями, когда зверь рвался наружу, — и поставил поднос обратно на стол. Медленно, без стука.

— Это тебе, — произнёс. Голос прозвучал глухо, деревянно, но она всё равно вздрогнула. Впервые подняла голову и встретила с ним глазами. В её взгляде стояло непонимание. Слово «тебе» не укладывалось в привычный порядок вещей.

— Еда. Для тебя, — повторил, разделяя слова, словно вбивая гвозди.

Она слушала, не моргая. Губы сжаты, пальцы вцепились в колени ещё крепче. Видел: слова не доходят. Слишком много воли, слишком много выбора — рабыня выбирать не умеет.

Тогда сделал то, чего не хотел, — но другого выхода не видел.

— Считай, что такова моя воля, — проговорил. — Ешь.

Лицо осталось неподвижным, однако плечи чуть опустились — на волосок. Вот оно. Приказ поняла. Приказ — это знакомо, это просто, это безопасно.

— Да, господин.

Голос прозвучал почти беззвучно — первое слово, произнесённое ею после имени «Молчание». Им оказалось «господин». Влад знал, что так будет, и всё равно почувствовал глухой укол.

Пересела к столу и начала есть — медленно, аккуратно, как едят рабы, привыкшие, что в любой момент могут ударить по рукам. Отламывала хлеб крошечными кусками, долго жевала, запивала молоком мелкими глотками. Не поднимала глаз.

Он стоял у окна, глядя в серое небо, и ждал. Предстояло сказать ещё кое-что — такое же трудное, такое же непривычное. Наконец, когда она отодвинула пустую кружку, заговорил снова.

— Эта комната — твоя. Здесь всё — для тебя. Кровать, шкуры, камин. Спать положено лёжа, ночью. Не сидя. Такова моя воля.

Выслушала, не меняясь в лице. Лишь взгляд скользнул к постели — проверяя, туда ли она смотрит, куда велели, — и вернулся к полу.

— Да, господин.

Он вышел.

В следующие дни всё пошло иначе — или ему хотелось так думать. Приносил еду каждое утро, ставил на стол и произносил одно слово: «Ешь». Она ела — уже без долгой паузы, без ожидания, что ударят по рукам. А однажды вечером, проходя мимо приоткрытой двери, заметил: она лежит. Вытянулась на шкурах, укрывшись до подбородка, и спит — по-настоящему, глубоко, без вздрагиваний.

Прогресс. Молчаливый, почти незаметный, но несомненный.

И где-то посреди этой череды одинаковых дней Влад поймал себя на мысли, которой не ожидал. Впервые за столетия у него появилось расписание. Каждое утро — встать, спуститься на кухню, принести поднос. Проследить, чтобы топили камин. Проверить, не нужно ли чего. Пустяки, бытовые мелочи — но из них складывался порядок, которого в его существовании не было уже полтысячи лет. Раньше дни текли сплошной серой массой, без начала и конца, без причины отличать вторник от пятницы. Теперь появилась причина вставать в определённый час. Появился кто-то, ради кого приходилось помнить, что люди едят, спят и мёрзнут.

Не обманывался — это не делало его человеком. Но делало чуть менее мёртвым.

А на пятый день она пришла сама.

Сидел в кабинете, разбирая бумаги, которые Лука приносил раз в месяц, — счета, описи припасов, редкие письма из долины. Дверь скрипнула. Она стояла на пороге — впервые без приглашения, впервые открыв дверь его покоев по своей воле. Руки теребили край рубахи, взгляд упирался в пол.

Ждал.

Прошло полминуты, прежде чем она выдавила:

— Господин вода.

Одно слово. Влад поднялся, вышел в коридор, вернулся с кувшином. Протянул. Она замерла, глядя на кувшин, потом мотнула головой.

Молча ждал.

— Ведро, — выдохнула наконец. — И тряпку.

Замерла сразу, будто выпалила последний заряд и опустела. Влад развернулся, вышел и вскоре вернулся с ведром холодной воды, поверх которого бросил кусок ветоши из кладовой. Поставил у двери. Отошёл к окну, встал спиной к ней, упёрся взглядом в заснеженные вершины.

За спиной звякнула дужка ведра. Торопливые шаги. Створка её комнаты закрылась.

Он остался стоять у окна. Ведро и тряпка — значит, убирать собралась. Полы, стены — что угодно. Лишь бы не сидела истуканом.

Но уже понимал: она начала оживать. Медленно, неуверенно, наощупь — как слепой котёнок, впервые выползший из корзины.

Он вернулся к ней позже. Шёл проверить — без особой нужды, скорее по привычке, выработавшейся за эти пять дней. В коридоре ещё держалась мысль, недавно мелькнувшая и почти приятная: оттаивает. Котёнок, выбравшийся из корзины.

Толкнул дверь.

Она стояла на коленях в углу, спиной к нему. Худые лопатки торчали под рубахой. Спутанные волосы прилипли к шее, плечи вздрагивали от холода — в комнате, несмотря на топленый камин, тянуло сквозняком от окна. Перед ней на полу — ведро. Вода серая, мутная. В руке — тряпка, та самая, старая, с жёсткими краями. Мокала в воду — пальцы покраснели, сморщились от холода — и водила по плечу, по ключице, по выступающим рёбрам. Без мыла. Ледяной грязной водой. Так обтираются рабы в бараках, когда господа забывают выдать горячую воду, а напомнить страшнее, чем терпеть.

Воздух вышел сквозь зубы. Не сказал ни слова — не мог. Глухая горячая злость ударила в голову, та самая, которую учился сдерживать веками и которая сейчас вырвалась раньше, чем успел подумать.

Дверь грохнула о косяк. Не заметил — рука, привыкшая крушить рёбра и ломать древки копий, шарахнула деревом так, что извёстка посыпалась с притолоки.

Она вжалась в стену. Тряпка выпала в ведро, всплеснув серой водой.

Перешагнул порог, подхватил ведро за дужку, рванул вверх. Вода плеснула на доски, на подол её рубахи, на его сапоги. Ведро улетело в коридор — грохнуло где-то за поворотом, покатилося, затихло. Дверь не закрыл. Даже не обернулся.

Она осталась в углу — серая, мелкая, трясушаяся. Губы дрожали, но плакать она не умела: слёзы выбили ещё в первые годы рабства, оставив только сухой спазм где-то в горле.

Не возвращался долго. Может, полчаса, может, час. Время в её комнате тянулось всё так же — без делений, без колоколов, без окриков.

Потом в коридоре слышались шаги. Тяжёлое дыхание, плеск воды, скрип половиц под чужой ношей. Слуги — она не знала их имён, не видела лиц, только руки и спины — втащили широкую деревянную бадью. От воды поднимался пар. На поверхности плавали сухие травы: мята, полынь, что-то горьковатое, можжевельник. Рядом на лавку легло серое полотенце, кусок тёмного мыла, чистая рубаха.

Слуги вышли. Затворили дверь.

Тишина. Вода парила.

Она не двинулась. Сидела в углу, подтянув колени к подбородку, и смотрела на бадью — как смотрят на ловушку. Горячая вода, травы, мыло — такого не бывает. Так не заботятся о рабах. Значит, проверка. Или наказание. Или что-то, чего она пока не понимает.

Дверь открылась снова.

Влад вошёл. Шаги тяжёлые, быстрые — половицы застонали под сапогами. Не взглянул на неё, сразу пересёк комнату, схватил бадью за края, пододвинул ближе к камину. Пар окутал его по пояс. Затем выпрямился, развернулся к ней.

Три шага. Остановился над сжавшейся фигурой. В полумраке лицо казалось каменным — ни жалости, ни объяснения, только желваки, перекатывающиеся под кожей.

Наклонился. Руки прошли под колени и под спину — жёстко, без колебаний, без нежности, с какой поднимают драгоценность. Подхватил. Она оказалась почти невесомой — кожа да кости.

Сжалась сильнее. Плечи втянулись в шею, голова ушла в плечи, руки прижались к груди. Глаза зажмурила — не от крика, от ожидания. Сейчас ударит. Сейчас. Господин поднял — значит, ударит.

Удара не было.

Три шага до бадьи. Мгновение — и тело погрузилось в тепло.

Вода обняла её: плечи, спину, колени. Горячая, с травами, с можжевельным паром, поднимавшимся к лицу. Одежда намокла мгновенно, прилипла к телу, но это не имело значения. Тепло проникало внутрь — впервые за годы, о которых не хотела помнить.

Не смела пошевелиться. Не смела поднять глаза. Пальцы вцепились в край бадьи, хотя он не приказывал держаться. Вода колыбалась от её дрожи.

Влад нашарил на лавке кусок мыла. Крепко, почти грубо вложил ей в ладонь, сжал её пальцы вокруг скользкого бруска. Мыло пахло мятой и ещё чем-то — незнакомым, лесным, диким. Не так, как пахли господа в турецком доме. Иначе. Живее.

Отпустил руку. Выпрямился. Одежда промокла — рубаха прилипла к груди. Прямо на ходу рванул застёжку, стянул мокрую ткань через голову, бросил на пол. Вышел в смежную комнату. Слышно было, как хлопает дверца гардероба, как шуршит сухая ткань.

Вернулся уже в чистой рубахе, застёгивая манжет. Не глядя в её сторону, пересёк комнату, толкнул дверь в коридор и вышел. На сей раз дверь закрылась тихо — сама собой, без удара.

Шаги удалились. Тишина.

Она сидела в горячей воде, сжимая в кулаке мыло, и не двигалась. Сердце колотилось где-то в горле. Пальцы ныли от холода, который медленно отступал, растворяясь в травяном пару. За дверью никто не стоял. Никто не дышал. Никто не ждал, чтобы ударить.

Прошло минут десять. Мыло размягчилось в ладони.

Она медленно, неуверенно — всё ещё оглядываясь на дверь — начала мыться.

Запах мяты мешался с можжевельным паром, поднимавшимся от воды. В этом запахе не было ничего знакомого. Рабство пахло прелой соломой, кислым потом, мочой, железом цепей. Здесь пахло иначе. Лесом. Травами. Чем-то, чему она не знала названия.

Она намылила плечо — медленно, неуверенно, всё ещё поглядывая на дверь. Провела по ключице, по рёбрам. Кожа, отвыкшая от любых прикосновений, кроме грубых, казённых, вздрагивала под собственной ладонью. Пена стекала в воду, оставляя на поверхности белёсые разводы. Она смотрела на них, не узнавая себя в этих движениях. Кто эта женщина, которая моется горячей водой? Которая сидит в бадье с травами, как госпожа?

Отложила мыло, взялась за спутанные волосы. Медленно, прядь за прядью, разбирала колтуны под мокрыми пальцами. Вода темнела от грязи, но ей не было стыдно. Впервые за долгие годы.

За дверью стояла тишина. Господин не возвращался. Может, вообще не вернётся. Может, это всё — бадья, мыло, тепло — последнее, что дано перед смертью. Она не знала. Если такова его воля — пусть. Пока есть вода. Пока есть мята. Пока есть этот миг, в котором никто не бьёт и не требует.

Наклонилась, зачерпнула воду, плеснула в лицо. Капли потекли по щекам, по шее, смешались с паром.

Лес встретил его тишиной. Глубокой, нетронутой — не той, что царила в замке по ночам, а живой, наполненной шорохами, далёким криком птицы, хрустом ветки под копытом. Снег здесь ещё не сошёл — лежал серыми проплешинами под корнями, прятался в тени елей.

Влад спешил у ручья, привязал коня. Охота — не развлечение, не спорт. Единственный способ сбросить ярость, не разрушив ничего важного. Замок не годился. В замке — она. И слуги. И чужие уши.

Двинулся в чашу. Без оружия — когти и чутьё работали лучше любого клинка. Запахи раскрывались один за другим: прелая хвоя, мокрый мох, старый помёт, заяц где-то восточнее, лисица ближе, а дальше — кабан. Молодой, сильный, одинокий. То, что нужно.

Зверь внутри отозвался раньше, чем разум успел приказать. Глаза залило чернотой — без белка, без зрачка. Когти прорезали кожу на пальцах, удлинлись, заострились. Тело перестало быть телом — стало пружиной, сжатой до предела.

Кабана настиг в овраге. Тот почуял опасность поздно — взрыл землю копытом, развернулся для атаки, но Влад уже был сверху. Один удар. Хруст позвонков. Тело рухнуло в палую листву.

Не колебался. Когти вспороли шкуру, зубы вошли в плоть. Кровь хлынула — горячая, густая, живая, первая за несколько дней. Пил, уже не думая о человеческих привычках, не вспоминая, как когда-то Глеб приносил мешки с зарезанными ягнятами и отворачивался. Теперь никто не смотрел. Только лес, только снег, только мёртвый кабан, остывающий под его руками.

Насытившись, поднялся. Вытер рот тыльной стороной ладони. Кровь уже засыхала на руках, темнела, сворачивалась. Когти медленно втянулись обратно. Зверь ушёл вглубь. Остался Влад — опустошённый, спокойный, как всегда после кормёжки.

Охота продолжалась ещё час. Брал не ради крови — ради мяса. Два зайца, ещё один кабан поменьше. Тушки складывал у ручья, аккуратно, не уродуя лишнего. Ему не нужно — нужно замку. Марфа примет. Лука разделает. Слуги будут сыты. Всё, как обычно.

Уже в сумерках взвалил добычу на круп коня, взял поводья и двинулся обратно. Злость ушла. Вернее, не ушла — затаилась до следующего раза. Но сейчас её место заняла усталость. И странное, почти забытое чувство — нечто вроде облегчения.

У чёрного хода, где кухня граничила с задним двором, в железном кольце на стене чадил факел. Пламя металось под порывами ветра, бросая жёлтые сполохи на утоптаный снег. Марфа, грузная, в заляпанном мукой переднике, вытирала руки о подол, когда слышала знакомый стук копыт.

— Власий, — позвала вполголоса. Из темноты вынырнул конюх, тот самый, что крутился вокруг Алины. — Принимай.

Конюх взял коня под уздцы, привычно отвёл к колоде, где разделявали дичь. Влад спешил, снял с крупа тушки — одну, вторую, третью. Сложил на широкий дубовый стол у кухонной двери, где Марфа уже ждала с ножом и тазом.

— Кабан молодой, — констатировала, переворачивая тушу за заднюю ногу. — И два зайца. Жирные. Хорошо. Завтра пироги будут.

Влад кивнул. Ни слова. Развернулся и ушёл в темноту двора.

Марфа проводила взглядом. Вздохнула. Рубаха на спине господина потемнела от пота и прилипла к лопаткам. На манжетах, на предплечьях — тёмные, почти чёрные пятна. Давно знала, что это. Давно перестала задавать вопросы. Её дело — кухня. Мясо есть мясо. Остальное не её забота.

— Власий, — окликнула конюха, который уже собрался увести коня. — Зайцев подвесь в холодной, кабана — в ледник. Утром разделаю.

Конюх кивнул.

Колодец стоял посреди двора — старый, с замшелым срубом и железной ручкой, вечно холодной даже летом. Вода в нём ледяная, с металлическим привкусом на зубах. Влад крутанул ворот. Ведро ушло вниз, глухо стукнуло о воду. Поднял, перехватил за дужку.

Ночь выдалась беззвёздной. Факел у чёрного хода чадил, бросая жёлтые сполохи на утоптаный снег. Ни луны, ни месяца — только это дрожащее пламя да редкие отблески из окон замка, где за ставнями горели свечи.

Вылил воду на ладони, растёр по запястьям, по предплечьям. Кровь отходила плохо, забилась под ногти, въелась в складки костяшек. Вода стекала в снег — розовая, потом алая, потом просто тёмная. Набирал снова. Снова сливал.

Ильяна вышла с корзиной мокрого белья — Арина попросила помочь развесить на просушку. Ступила на крыльцо людской, вдохнула морозный воздух, поправила платок — и замерла.

Господин стоял у колодца. Спина к ней. Широкие плечи, светлая рубаха, на рукавах и манжетах — тёмные пятна, чёрные в неровном свете факела. Набирал воду, сливал на руки, и вода в снегу становилась розовой. Снова набирал. Снова сливал. Снег вокруг колодца пропитался влагой, и в этой влаге, в жёлтых сполохах пламени, проступало что-то тёмное, густое — не вода.

Видела, как он наклонился, опёрся о сруб колодца — устало, тяжело. Руки до сих пор в крови. На снегу — целая лужа, и лужа эта красная, почти чёрная к краям.

Снова зачерпнул.

Пальцы Ильяны сами поднялись к губам. Прижались. Не перекреститься — просто закрыть рот, чтобы не издать ни звука. Сердце колотилось где-то в горле. Холодный воздух обжигал ноздри. Корзина с бельём дрожала в ослабевших руках.

Влад выпрямился, встряхнул ладонями. Капли разлетелись по снегу. Не обернулся. Не почувствовал. Или не посчитал нужным обозначить, что заметил. Просто взял ведро, повесил на крюк колодца и пошёл к чёрному ходу — туда, где на дубовом столе лежали обескровленные туши и ждала Марфа.

Дверь закрылась. Факел качнулся от сквозняка.

Ильяна стояла на крыльце, сжимая корзину до побелевших костяшек. Бельё так и осталось неразвешенным. Снег под колодцем медленно впитывал тёмное пятно, размывая его в серое, в бурое, в ничто.

Не шевелилась. Ветер трепал край платка, задувал под рукава, леденил щиколотки. А она всё стояла и смотрела на снег, на тёмное пятно, на закрытую дверь, за которой скрылся господин.

Пока Арина не окликнула изнутри:

— Ильяна! Ты там замёрзла, что ли?

Вздрогнула в последний раз. Заставила себя разжать пальцы, перехватить корзину поудобнее. Шагнула к перилам, где были натянуты верёвки для белья. Руки двигались сами — прищепить, расправить, разгладить. Механически, бездумно.

Но взгляд то и дело возвращался к пятну на снегу.

Глава четвертая

Вода ещё стекала с ладоней, когда он толкнул дверь чёрного хода. Кухня встретила жаром печи и запахом свежей крови — на дубовом столе ждали разделки кабаньи туши. Марфа уже засучила рукава, вооружилась ножом, но при появлении хозяина отложила лезвие и вытерла руки о передник.

Тут же переминался Лука — сухой, сгорбленный, с неизменным внимательным прищуром. То ли грелся у печи, то ли дожидался распоряжений. За долгую службу дворецкий выучился возникать именно тогда, когда требовался, и растворяться, когда необходимость отпадала.

Влад стянул мокрую рубаху через голову — ткань, надетая после бадьи, снова промокла от воды и пота. Бросил её на лавку.

— Каждый вечер, — проговорил, не адресуясь ни к кому. — Горячую воду в покои гости. С травами. И в мои тоже.

Марфа переглянулась с Лукой. «Гостья» — слово прозвучало чуждо, будто хозяин и сам не до конца определил, как её называть. Госпожа? Нет, та прибыла бы со слугами и сундуками. Пленница? Тоже нет — пленниц не отпаивают мятой и можжевельником. Гостья — самое нейтральное, самое осторожное обозначение из всех, что он сумел подобрать.

— Дров для каминов, — продолжил Влад. — В её покои и в мои. Побольше.

Дворецкий склонил голову — понял, принял, запомнил.

— Сделаем, — ответил за обоих. Голос скрипучий, но спокойный, без тени подобострастия. С хозяином старик разговаривал так уже тридцать лет — ровно, без дрожи, как беседуют с тем, чью природу знаешь и принимаешь.

Влад кивнул, подхватил мокрую рубаху и вышел в коридор. Шаги стихли у лестницы, уводящей в господские покои.

Марфа выждала, пока хлопнет дальняя дверь, и вздохнула — шумно, всей грудью, точно сбрасывая невидимый груз.

— Гостья — повторила, пробуя слово на язык. — Надо же. Уж думала, не доживу.

— До чего? — хмыкнул Лука, опускаясь на край лавки.

— До того, чтоб хозяин о ком-то пёкся.

Дворецкий ничего не ответил. Взял со стола небольшой нож, покрутил в пальцах, пробуя заточку.

Повариха вернулась к тушам. Лезвие вошло в кабанью ногу легко, привычно — сказывались сорок лет при кухне. Отделила окорок, отложила на чистое полотно.

— Хорошо, что дичь принёс, — проговорила уже буднично, возвращаясь к делу. — Зайцы жирные, кабан молодой. Пирогі сделаю. Припасы-то к концу подходят.

— Хорошо, — согласился Лука. — Только вот бродить нынче по лесу — то ещё дело.

— А что такое?

— Да в деревне бают. — Старик понизил голос, хотя в кухне они оставались одни. — Разбойники объявились. Обозы грабят, купца на прошлой седмице порезали. Уже трое не доехали до ярмарки. Народ за околицу носа не кажет.

Марфа хмыкнула, не отрываясь от работы.

— Разбойники, говоришь. — Перевернула тушу, примерилась к груди. — Это кому ж страшнее — разбойникам или тем, кто их встретит?

Лука негромко рассмеялся — сухо, словно заскрипело старое дерево. Потёр ладони, хлопнул себя по колену.

— Вот и я про то. Глядишь, и замку перепадёт. Хозяин-то частенько возвращается с добычей. То золото, то меха. Деревенским тише — и нам польза.

— Тише-то тише, — покивала она. — Только всё равно не по себе. Лес большой, мало ли что.

— Мало ли что — это уж пусть те, кто в лесу, думают, — отмахнулся дворецкий. — Наше дело маленькое. Воду готовить, дрова таскать. Гостье, стало быть, камин топить.

Последние слова прозвучали с лёгкой усмешкой, но без насмешки. Лука поднялся, отряхнул колени, поправил ворот камзола.

— Пойду насчёт дров распоряжусь. А ты тут управляйся с мясом.

Марфа кивнула. Шаги в коридоре — сухие, шаркающие, однако для его лет всё ещё твёрдые. Дверь притворилась.

Повариха осталась одна. Подбросила дров в печь. Пламя взметнулось, лизнуло чугунный бок котла. Заячьи тушки ждали своей очереди на столе, в углу дремал кот.

Работала молча, размеренно, не поднимая головы. В какой-то момент замерла — нож в одной руке, точильный брусок в другой — и бросила взгляд на тёмное окно. За стеклом лежал снег. У колодца по-прежнему темнело пятно, которое к утру присыплет свежим.

Покачала головой, вернулась к разделке. Своё дело она знала. Остальное — забота не её.

Солнце взошло зимнее, низкое, но яркое — такое, что снег за окном вспыхнул белым огнём и резал глаза до слёз. В покоях у Молчания сделалось светлее, чем за все предыдущие дни, вместе взятые. Широкие полосы легли на половицы, забрались на край постели, добрались до подушки.

Проснулась она не от света — от тишины. Непривычной, плотной, ненарушаемой. Прежде её поднимали окрики, пинки, лязг цепей или холод, пробиравший до костей. Здесь никто не кричал. Никто не входил. В камине едва теплились угли, но воздух ещё хранил остатки ночного тепла.

Села на край постели, опустила босые ступни на половицы. Ледяное прикосновение дерева привело в чувство — и тут же накатило воспоминание о вчерашнем: грохот двери, вырванное из рук ведро, лицо господина, искажённое яростью. Только ярость та отличалась от всего, что она знала раньше, — не холодная, расчётливая, предвещающая удар, а какая-то иная, непонятная и оттого ещё более страшная.

Потом — бадья. Горячая вода. Травы. Мыло в ладони.

Она так и заснула в чистой рубахе, пахнувшей можжевельником.

Теперь — утро. Тишина. Незнестность, которая страшнее плети.

Молчание поднялась, прошла к окну. За стеклом лежал снег — ослепительный, нетронутый, уходивший вниз по склону к чёрной кромке леса. Солнце поднималось над горами, заливало замковый двор светом, от которого она отвыкла за годы в полутьме барачков и шатров. Протянула руку к стеклу — холод обжёт пальцы. Отдёрнула.

Господин не приходил.

Она постояла у окна, прислушиваясь к шагам за дверью. Где-то далеко хлопнула створка, простучали по камню чьи-то каблуки, стихли. Может, он. Может, нет. Выглянуть она не решилась. Если господин разгневался — лучше не попадаться ему на глаза. Если разгневался настолько, что решил выгнать или убить, — ей дадут знать. Всегда давали. Крикнут, ударят, потащат за волосы. Здесь не кричали, не били — и ожидание делалось невыносимым.

Время текло медленно, словно вода замёрзла в песочных часах. Молчание сидела на краю постели, потом снова вставала, подходила к двери, замирала, прижав ладонь к дереву. За дверью — всё та же глухота. Отходила к окну. Возвращалась.

Она не умела маяться. Маяться — удел свободных. Раб ждёт приказа, ждёт наказания, ждёт смерти. А когда ждать нечего, когда никто не приходит и не говорит, что делать, — внутри разверзается пустота, куда проваливаются все мысли.

Один раз толкнула створку — та подалась с тихим скрипом. Выглянула в коридор: полутёмный, холодный, с рядами дверей по обе стороны. Сводчатый потолок терялся в тени. Где-то далеко горел факел, дрожал на сквозняке.

Вышла. Сделала несколько шагов — половицы скрипнули под босыми ногами. Остановилась. Сердце колотилось где-то в горле, заглушая все звуки.

Куда идти? К нему? Зачем?

Он не звал. Рабыня не ходит к господину сама — только если позовут. Явиться без приказа — чревато чем угодно. Ударят. Прогонят. Или — что хуже — посмотрят так, как он смотрел вчера: с яростью, за которой пряталось что-то ещё. Что именно, она не понимала, но чувала — это «что-то» опаснее гнева.

Отступила обратно в комнату. Притворила дверь.

Села на пол у стены, обхватила колени руками. Пальцы машинально нащупали край рубахи, сжали ткань. Она не плакала — не умела. Просто сидела и ждала, как ждала всегда.

Стук в дверь заставил вздрогнуть. Господин не стучал. Звук повторился: негромкий, осторожный, женский.

— Дозволите войти? — голос молодой, с лёгкой дрожью.

Молчание не ответила — не знала, что отвечать. Дверь приоткрылась сама.

На пороге стояла девушка с круглыми светлыми глазами и пепельной косой, уложенной под платок. В руках — поднос. Запахло тёплым хлебом и топлёным молоком. Держалась она скованно, но страх сквозил не перед гостьей — боялась расплескать молоко.

— Господин велел завтрак принести, — проговорила, проходя к столу. Голос тихий, движения быстрые, аккуратные. Поставила поднос, поправила кружку, покосилась на Молчание — и впервые за всё время задержала взгляд дольше, чем на мгновение.

Перед ней сидела на полу девчонка — худая, с торчащими ключицами, спутанными после сна волосами, в чужой, слишком просторной рубахе. Босая. Со взглядом, который смотрел сквозь стены.

Пальцы, сжимавшие поднос, дрогнули.

— Ты чего на полу-то? — вырвалось у служанки прежде, чем она успела прикусить язык.

Молчание не ответила. Только повела плечом — движение, означавшее что угодно.

Девушка помялась у стола, раздумывая, уйти или остаться, потом заговорила мягче:

— Ты ешь. Ешь, не бойся. Господин велел, значит, можно. Он... он у нас строгий, но зря не обидит. Ты ж под его кровом теперь. Под его защитой.

Слова прозвучали неуверенно — она и сама до конца в них не верила. Однако молчать выходило хуже.

Молчание перевела взгляд на поднос. Хлеб. Молоко. Каша с маслом — жёлтый глазок растёкся по гречневой крупе. В животе заныло. Она поднялась, подошла к столу.

— Вот и правильно, — выдохнула гостья. — Ешь давай. А то ветром унесёт.

Молчание провела ладонью по краю стола, вдохнула запах хлеба — свежий, тёплый, тот самый, от которого когда-то, в другой жизни, щипало в носу от удовольствия, — взяла кусок и начала есть. Медленно, всё ещё ожидая, что в любой момент могут ударить по рукам.

Служанка не уходила. Стояла, прислонившись к косяку, и смотрела. Во взгляде больше не плескался страх — только жалость, смешанная с непонятным облегчением.

— Меня Иляной звать, — сказала тихо. — Я тут служу. Если что понадобится — ты скажи. Ну, или дай знать. Я пойму.

Молчание подняла глаза. Впервые за всё утро в них мелькнуло что-то, кроме пустоты: не благодарность — до неё оставалось ещё далеко, — а слабый проблеск удивления.

Иляна улыбнулась — сдержанно, уголками губ, — присела в неловком поклоне и вышла. Дверь затворилась мягко, без стука.

К вечеру дрова в камине прогорели. Она сидела на краю постели, кутаясь в шкуру, и смотрела, как умирают угли. Холод подбирался постепенно — сперва к босым ступням, потом к пальцам, потом к плечам. Она терпела. Терпеть умела.

Но господин велел.

Слова всплыли в памяти отчётливо, будто он стоял рядом: «Эта комната — твоя. Кровать, шкуры, камин». Камин — тоже. Позволить огню погаснуть — значит нарушить его волю. А нарушив — прогневать.

Он и без того разгневался вчера.

В чём провинилась — не понимала. Попросила ведро? Взяла воду? Мылась неправильно? Разве что. Но если господин разгневался — вина существует, даже когда не названа. И когда он придёт снова, нужно будет просить прощения. За ведро. За воду. За то, что не угадала.

А пока — огонь. Чтобы не гневался сильнее.

Поднялась, подошла к поленнице у камина, выбрала полено поменьше и уложила на угли — осторожно, как делают то, чему когда-то учили, но что забылось за годы без печей и очагов. Руки ещё помнили. Дрова занялись не сразу — пришлось наклониться к самым углям и подуть. Жар опалил лицо. Пламя лизнуло дерево, ожило, выбросило сноп искр.

Отступила. Опустилась на пол, обхватила колени руками. Взгляд ушёл в огонь.

Когда он придёт, нужно будет сказать: «Прости, господин». Или просто «прости». Или ничего — лишь склонить голову ниже обычного, чтобы понял.

Просить прощения словами она не умела. Только телом: поклон, опущенные глаза, готовность к удару. Может, этого хватит. Может, поймёт.

За окном темнело. Камин горел. Она ждала.

Вода парила. От бадьи поднимался пряный густой дух — мята, можжевельник и что-то ещё, сладковатое, напоминавшее июльский луг. Таволга? Липовый цвет? Молчание не знала названий. Просто стояла у стены и смотрела, как слуги вносят деревянный чан, раскладывают на лавке полотенце с мылом.

Следом вошла незнакомка — высокая, с тяжёлой русой косой, переброшенной через плечо. Взгляд прямой, цепкий, без страха и заискивания. В руках — свёрток. Развернула, встряхнула; по комнате поплыл запах сушёных трав и чистого льна.

— Вот. — Разложила рубаху на лавке, расправила складки ладонью. — Господин велел чистую принести. Не новая, но добротная. Вышивка, гляди-ка, ещё держится.

Мужская рубаха — широкая в плечах, просторная в рукавах, длиной до середины голени. Белый лён, по вороту красная нить: крестики, зубчики, неровные стежки ручной работы. Такие не покупали на ярмарках. Такие шили дома, долгими вечерами, при свете лучины.

Молчание перевела взгляд с ткани на женщину, потом на дверь. За порогом стояла тишина. Господин не шёл.

— Господин — выдохнула. Единственное, что сумела.

Женщина обернулась, прищурилась. Не в глаза всмотрелась — в то, как сжаты пальцы на подоле, как дрожит жилка на шее.

— Господин сегодня, видать, из покоев не выйдет, — сказала мягче. — Часто так. Заперся у себя — и сидит.

Молчание смотрела на дверь. Тёмную щель между створкой и косяком. Ждала, что та откроется.

Женщина покачала головой — без насмешки, с непонятной грустью. Поправила рубаху на лавке, разгладила складку.

— Меня Алиной звать, — добавила уже у порога. — Понадобится что — кликни.

Дверь затворилась. Молчание осталась одна. Бадья парила. Рубаха ждала. За порогом лежала тишина, лишённая шагов.

В людской горел единственный жирник. Арина штопала чулок, низко склонившись к огоньку. Иляна сидела на краю лавки, перебирала сухие травы для Марфы — связывала в пучки, откладывала в корзину. Работа нехитрая, механическая: пальцы делали своё, мысли бродили далеко.

Алина вошла быстро, притворила дверь поплотнее, стянула платок и бросила на лавку.

— Девчонка господина ждёт, — обронила в пространство. — Стоит, в дверь смотрит. Господин опять заперся. Как всегда после охоты.

Пожала плечами — ни злобы, ни насмешки, простая констатация — и потянулась к кувшину.

В людской повисло молчание.

Пальцы Иляны замерли на стебле сушёной мяты. В голове срашивалось разрозненное: вчерашний вечер, колодец, розовая вода на снегу, руки господина в тёмных пятнах. Девчонка — худая, с пустым взглядом, который она видела утром. Ждала. Ждала того, кто накануне стоял у колодца с кровью на рукавах.

— Жалко её, — проговорила тихо, не поднимая головы.

Арина оторвалась от штопки, покосилась на подругу.

— Жалко, — повторила Иляна. — Натерпелась у турок. А теперь господин — Осеклась, прикусила губу, покосилась на дверь, будто за ней мог стоять кто-то чужой. — Мало ли, что в голову придёт. Ему.

Голос сел до шёпота. Плечи втянулись в шею.

Арина открыла рот для ответа, но Алина опередила:

— Не болтай, чего не ведаешь.

Резко, без злобы. Привычный окрик старшей.

Иляна не ответила. Взяла пучок полыни, примотала ниткой, отложила. Нитка рвалась, трава крошилась на колени. Перед глазами стояла та девчонка. Розовая вода на снегу. Тёмные пятна на рукавах.

— Может, и не ведаю, — прошептала себе под нос, когда Алина отошла к сундуку. — Только страшно. За неё страшно. За себя.

Арина вздохнула, отложила чулок.

— Ты бы поменьше думала. Целее будешь.

Иляна подняла глаза. В них стояла не злоба, не зависть — один лишь страх, липкий, как испарина перед грозой.

— Я не думаю, — соврала она.

Склонилась над корзиной снова.

На третье утро тишина в замке стояла особенно густая — из тех, что давят на уши и заставляют сердце биться громче обычного. Молчание проснулась рано, ещё до того, как Марфа затопила печь на кухне, до того, как Лука обошёл коридоры с проверкой. Села на край постели, прислушалась. За дверью — ни шагов, ни голосов.

Иляна приходила вчера. Приходила и позавчера. Приносила завтрак, меняла воду в кувшине, молча ставила поднос и уходила — быстро, почти бесшумно, будто боялась задержаться в этой комнате лишнюю минуту. Еды хватало. Воду грели исправно. Дрова лежали у камина аккуратной поленницей. Всё, что велел господин, исполнялось. Кроме одного: он не приходил.

Она ждала.

Каждое утро садилась лицом к двери, с прямой спиной, положив руки на колени, — ждала окрика или появления. Каждый вечер засыпала, теперь уже лёжа, как велел, но сон оставался чутким, поверхностным, готовым оборваться в любой миг. Господин не шёл ни утром, ни вечером, ни ночью, и пустота на месте его отсутствия разрасталась, словно трещина в стене.

Почему это важно, она не знала. Не сумела бы объяснить словами, даже если бы умела говорить. Просто в мире, где всё ещё существовали господа, отсутствие господина означало непредсказуемость. А непредсказуемость — боль.

На третий день поднялась с постели раньше обычного. Подошла к двери, прижалась лбом к дереву. Холодное, шершавое. За ним — коридор, лестница, ещё одна дверь. Дверь в его покои.

Где это находится, она знала. Алина обмолвилась вскользь, когда приносила рубаху: «Господин заперся у себя». Запомнила, сама не понимая зачем. Может, затем, чтобы не подходить близко. Может, затем, чтобы найти, если позовут.

Позвать было некому. Только она сама.

Толкнула створку. Коридор встретил холодом и полумраком. Босые ступни ступали по камню — она уже не вздрагивала от ледяного прикосновения, привыкла. Шла медленно, то и дело останавливаясь, прислушиваясь. Никого. Замок спал.

Его дверь оказалась массивнее прочих — тёмное дерево, кованые петли, железное кольцо вместо ручки. Из-под створки не пробивался свет. Тишина стояла такая плотная, что, казалось, звенит в ушах.

Остановилась. Подняла руку. Замерла.

Пальцы зависли в волоске от двери. Сердце колотилось часто, мелко, у самого горла. Что сказать? «Прости, господин»? «Я пришла»? «Ты велел ждать»? Все слова казались неправильными. Не угадает. А не угадав — разгневаешь снова. А разгневав — получит удар. Или, что хуже, будет изгнана. Или, что совсем непонятно, он снова принесёт горячую воду и уйдёт, хлопнув дверью так, что известька посыплется с потолка. Этого она боялась больше всего — не удара, а его ярости, причины которой не понимала.

Опустила руку.

Постояла ещё минуту, другую, пятую, десятую. Прислонилась плечом к косяку, закрыла глаза. Дерево пахло старым воском и едва уловимо — хвоей, той самой, которой пахла его одежда, когда он проходил мимо.

Не решилась.

Развернулась и пошла обратно — медленно, бесшумно, тень, вернувшаяся в свою комнату. Дверь притворилась с тихим, почти извиняющимся скрипом.

Он слышал всё.

Стоял у окна, когда её босые ступни впервые коснулись каменных плит коридора. Охотничье чутьё, обострённое проклятием, улавливало малейший шорох за десятки шагов, а её поступь — лёгкую, почти невесомую — он различил так же ясно, как биение сердца за стеной. Медленные шаги. Неуверенные. Приближаются. Ближе. Ещё ближе.

Вот она остановилась под дверью. Вот подняла руку. Вот замерла.

Он не двигался. Смотрел на тёмное дерево, отделявшее его от неё, и ждал, сам не понимая, чего именно ждёт. Чтобы толкнула створку? Чтобы вошла без спроса, без страха, просто потому что захотела? Чтобы доказала, что оклемалась, ожила, что больше не та пустая оболочка, которую он вытащил из шатра?

Тишина тянулась бесконечно долго. Он чувствовал её дыхание за дверью. Чувствовал, как колотится сердце, как дрожат пальцы, замершие у дерева. Чувствовал запах — чистый лён рубахи, мята от вчерашней воды, лёгкий солевой оттенок пота. И страх. Тот самый, пресный, без оттенков — без горелого миндаля, без паники. Привычный рабский страх, ставший частью запаха тела, как частью тела стали шрамы.

Она не вошла.

Рука опустилась. Плечо коснулось косяка — прислонилась. Стояла долго, неподвижно, прижавшись щекой к дереву, затем развернулась и ушла. Шаги — такие же тихие, как прежде, — удалились к её комнате. Дверь затворилась.

Влад остался у окна.

В груди что-то сжалось — глухо, коротко, словно старая мышца, давно забывшая, что значит сокращаться. Он не сразу узнал это чувство. Слишком давно не испытывал ничего подобного. Разочарование? Пожалуй, мельче. Сожаление? Пожалуй, оно. Она почти решилась. Почти переступила через то, что вдалбливали годами. Почти — но не до конца.

Следом пришла злость. Знакомая, привычная, почти уютная в своей ясности. Не на неё — на тех, кто её сломал. На турок, на работарговцев, на каждого, кто бил плетью и заставлял есть с пола. Она не виновата, что боится. Не виновата, что не умеет иначе. Легче от этого не становилось — смотреть, как живая душа, уже начавшая оттаивать, снова замирает перед закрытой дверью.

— Не оклемалась, — проговорил вслух. Голос прозвучал глухо. Слова упали в тишину и погасли.

Отошёл от окна, достал из гардероба чистую рубаху, переоделся. Движения точные, резкие — так он делал всё, когда требовалось занять руки, чтобы не думать. Мысли уже текли в ином направлении.

Ей нужна одежда. Та рубаха, что принесла Алина, — мужская, с чужого плеча, широкая не по размеру. Ходит в ней, как в мешке. А на дворе ещё снег. В замке холодно, коридоры продуваются сквозняками, у камина не просидишь сутками.

Медведь. Медвежья шкура — вот что нужно. Тёплая, плотная, непродуваемая. Отдать Марфе — сошьёт накидку или жилет, что угодно, лишь бы не мёрзла.

Решение оформилось быстро, без колебаний. Охота на медведя опаснее, чем на кабана или зайца, но опасность не пугала. Зверь внутри чуял добычу и отзывался глухим, утробным предвкушением. Размяться. Выйти в лес. Оставить замок с его тишиной, с её молчаливым присутствием за стеной, с этой непонятной тяжестью в груди, которую он не желал разбирать.

Взял со стола охотничий нож — широкое лезвие, костяная рукоять, подарок Глеба, сделанный ещё при жизни. Сунул за пояс. Накинул плащ.

Шаги — тяжёлые, стремительные — прогремели по коридору мимо её двери. Не остановился. Не заглянул. Сейчас не время. Сначала — дело. Медведь, шкура, охота. Остальное — потом.

Она услышала его шаги. Вскочила с постели, замерла у двери. Тяжёлая поступь приблизилась — сердце ёкнуло, пальцы сжали ткань рубахи, — и прошла мимо. Не остановился. Не окликнул. Удаляющиеся шаги стихли на лестнице.

Молчание выдохнула, сама не зная — облегчение это или горечь.

Опустилась на пол у двери, прижалась щекой к дереву — там, где мгновение назад, за стеной, стоял он.

За окном занимались серые, холодные последние лучи заката.

Конь остался у ручья, привязанный к старой ели. Дальше Влад двинулся пешком — вглубь, туда, где ельник смыкался сплошной стеной и снег лежал нетронутым, без единого следа. Подмёрзший наст хрустел под сапогами. Луна ещё не взошла, но зверю хватало звёздного света — серого, рассеянного, превращавшего деревья в безмолвных великанов.

От оврага донёсся мускус — тяжёлый, звериный, с кисловатой примесью старой шерсти и сырой земли. Медведь. Крупный, матёрый, лет десяти, не меньше. Шатун — не залёг в берлогу то ли от голода, то ли от поздних холодов. Такой опаснее вдвойне: подранок, оголодавший, готовый драться насмерть. Шкура, впрочем, от этого только лучше — густой подшёрсток, плотный ворс. То, что нужно.

Зверь внутри отзывался раньше, чем разум успел приказать. Когти прорезали кожу на пальцах — плоть раздалась без боли, привычно. Глаза залило чернотой. Плечи расправились, дыхание сделалось глубже, грудное, утробное. Собственный запах изменился — зверь чуял сам себя как помесь человека и хищника, и это чутьё било в ноздри острее любого звериного.

Медведь поднялся на задние лапы, когда расстояние сократилось до десятка шагов. Взревел — громогласно, утробно, сотрясая воздух, — и бросился первым, ломая кусты. Влад ушёл вбок — не быстрее зверя, но расчётливее. Когти полоснули по горлу. Кровь хлынула на мох, задымилась на морозе. Тяжёлая туша рухнула мордой в снег. Второй удар — в основание черепа — оборвал агонию.

Опустился на корточки. Дыхание ровное, пульс замедленный — зверь насытился схваткой, однако крови не пил. Медведь — не дичь для кормёжки. Медведь — шкура. Для неё.

Он уже вытащил нож, чтобы начать свежевать, когда ветер переменялся.

Запах ударил в ноздри — конский пот, грязная кожа, немытые тела, чеснок, кислое вино, железо. И страх. Тот самый, горелый миндаль, который он помнил пять столетий. Люди. Пятеро. Может, шестеро. За деревьями, метрах в трёхстах восточнее.

Разбойники.

Влад выпрямился, вытер лезвие о снег и убрал нож за пояс. Когти всё ещё торчали из пальцев — чёрные на фоне белого наста. Глаза оставались провалами без дна. В таком виде показываться не стоило, но времени прятать зверя не оставалось.

Двинулся на запах.

Лагерь разбойники разбили в распадке, прикрытом с трёх сторон густым ельником. Горел костёр. Над огнём висел котелок с чем-то мутным, пахнущим бараньим жиром и прокисшей крупой. Двое сидели у пламени, передавали друг другу флягу. Ещё трое возились с добычей: взламывали сундук, вытряхивали тюки с тканью, перебирали мешки, выворачивали карманы мёртвого тела, лежавшего поодаль. Купец — седая борода, разорванный кафтан, горло перерезано от уха до уха. Рядом валялся ещё один — молодой, рыжий, с пробитой головой. Охранник или сын. Разбойников трупы не занимали. Их занимало только то, что можно унести.

Шестой стоял на часах у дальнего дерева. Его Влад снял первым — бесшумно, без крика: зажал рот и сжал горло. Тело сползло в снег, не успев дёрнуться.

Второго взял сзади, у костра. Когти вошли под рёбра — быстро, без сопротивления. Третий успел вскрикнуть, но лишь раз. Удар кулака — голова мотнулась, шея хрустнула, тело рухнуло в огонь. Пламя взметнулось, зашипело, пожирая волосы и одежду. Остальные бросились врассыпную.

Двоих настиг сразу — рывок, когти, горло. Последний побежал к лошадям, хватал поводья трясущимися руками, всхлипывал, молился — не Богу, кому-то другому, бормотал на степном наречии что-то о пощаде. Влад дал ему добежать почти до седла. Почти — потому что надежда делает смерть острее.

Удар в спину. Разбойник упал лицом в снег и затих.

Лагерь погрузился в тишину. Только костёр трещал, пожирая тело.

Влад обвёл взглядом добычу. Сундук с серебром. Тюки с тканями: сукно, лён, отрез тонкой шерсти тёмно-синего цвета. Мешок с монетами — медными, серебряными, с малой толикой золотых.

Взвалил тюки на плечо, подхватил мешок. Сундук оставил — слишком тяжёлый, забрать можно позже, с конём.

Вернулся к медвежьей туше. Работал быстро: освежевал, снял шкуру пластом, свернул, перетянул ремнями. Мясо бросил в снегу — не его добыча. Лесные твари распорядятся.

Конь всхрапнул, когда он навьючил на него шкуру и тюки. Поводья в руку — и обратно. Ночь ещё не миновала, но звёзды уже бледнели над вершинами.

У чёрного хода горел всё тот же факел. Марфа, разбуженная стуком копыт, вышла на крыльцо, кутаясь в платок. Увидела навьюченного коня — и только покачала головой.

Лука появился следом, с фонарём в руке.

Влад спешил. Снял с коня медвежью шкуру — тяжёлую, ещё хранившую звериное тепло, — и бросил на дубовый стол. Сверху лёг мешок с монетами. Тюки с тканями опустились на лавку у стены.

— Медвежья, — проговорил коротко. — Ей. Одежду сошьёте. Там, — кивок на тюки, — ткань. Посмотрите, что на платье сгодится.

Марфа развернула шкуру, прикинула размер и присвистнула:

— Добрая шкура. На целую накидку хватит.

Лука тем временем развязал мешок, заглянул внутрь. Свет фонаря блеснул на серебре.

— Разбойники?

Влад кивнул. Потёр запястье — когти уже втянулись, но кожа ещё зудела.

— Вся шайка?

— Все.

Лука хмыкнул и затянул мешок обратно.

— В деревне спокойнее станет. Дорога на перевал теперь чистая.

— Шкуру — Марфе, — повторил Влад, не слушая. — Остальное разберите.

Развернулся и двинулся к чёрному ходу. Шаги тяжёлые, усталые. Дверь закрылась.

Марфа и Лука остались во дворе.

Старик ещё раз заглянул в мешок, пересчитал монеты привычным движением — пальцы помнили работу казначея, хоть и огрубели за годы другой службы.

— Всю шайку положил, — проговорил негромко. — Шестерых, не меньше. Говорил же: не позавидуешь тем, кто ему в лесу встретится.

Повариха хмыкнула, расправляя медвежью шкуру на столе.

— Оно и к лучшему. Деревенские-то боялись нос за околицу высунуть. Глядишь, теперь торговать начнут без опаски. Молоко, мука — всё сподручнее.

— Золото опять же, — Лука качнул мешок на ладони. — Припасы пополним, инструмент справим, крышу на конюшне латать пора. Замок-то большой, забот полон рот.

— Угу, — кивнула Марфа. — А девочке накидка будет тёплая. Медвежья. Гляди, какая шкура добрая — на зависть любой боярыне.

— Накидка — ладно, — Лука покосился на тюки с тканью. — Тут, глянул мельком, синяя шерсть есть. Ей на платье пойдёт. И сукно доброе, серое — на сменную рубаху, не в мужской же вечно ходить. Отроковица всё-таки.

— Отроковица, — усмехнулась Марфа. — Скажешь тоже. Девка как девка, только жизнью битая. Ладно, пойду гляну, что там к чему. Ткани-то, небось, купеческие, с ярмарки. Может, и нитки в цвет найдутся.

Лука подхватил фонарь, собираясь уходить, но задержался:

— Ты, главное, шкуру выделай как следует. Хозяин велел ей — значит, пусть лучшее будет. Он, конечно, не спрашивает, но помнит. Про каждую мелочь помнит.

— Это да, — кивнула повариха, проводя ладонью по густому меху. — Раньше такого не бывало.

— Раньше и гости у нас не было, — тихо отозвался Лука.

Переглянулись. Помолчали. Фонарь качнулся, отбрасывая на снег дрожащие тени.

— Ладно, — Марфа встряхнулась. — Утро вечера мудренее. Шкуру пока в кладовую, завтра займусь. А ты деньги в сундук, и спать. Старые кости покоя просят.

Дворецкий кивнул. Подхватил мешок, взял фонарь и зашаркал к двери. Марфа ещё раз оглядела шкуру, тюки, медвежью тушу, которую конюх успел переложить на стол, — и двинулась следом.

Двор опустел. Факел на стене качнулся от сквозняка, выбросил сноп искр. Снег под столом пропитался кровью — медвежьей, густой, тёмной. К утру замёрзнет. К следующей ночи присыплет новым снегом.

В людской темнота стояла такая густая, что, казалось, её можно потрогать. Ильяна не спала с того самого мгновения, как услышала стук копыт во дворе. Лежала под одеялом, натянув его до подбородка, и вслушивалась. Арина дышала ровно на соседней лавке — устала за день, уснула сразу. Алина не появлялась — то ли задержалась у конюха, то ли ночевала в другой каморке.

Окно людской выходило во двор — узкое, затянутое мутным бычьим пузырьём. Сквозь него лиц не разглядеть, только тени, искажённые светом факела. Зато звуки долетали отчётливо.

Сперва — голос Марфы: «Разбойники?» Потом — глухой ответ господина: «Все». Одно короткое слово, вместившее столько, что у Иляны похолодели пальцы. Все — значит, не один, не два. Все, кто встретился ему в лесу.

Дальше — разговор Марфы и Луки. Про шкуру. Про ткани. Про золото. «Всю шайку положил», — скрипучий голос дворецкого звучал буднично, словно речь шла о забое скота. «Шестерых, не меньше». «Не позавидуешь тем, кто ему в лесу встретится».

Ильяна лежала не дыша. Шестерых. Шестерых убил. Не зверя. Не кабана. Людей.

Сердце колотилось часто, мелко. Перед глазами стояла вчерашняя картина: вода розовеет на снегу, руки господина в тёмных пятнах. Сегодня — снова кровь. Уже не звериная.

За что ей такая судьба? Два месяца назад брат помер от горячки, отец запил пуще прежнего, мать осталась с тремя малышами на руках. Пришлось идти в услужение, куда взяли. Взяли сюда — в замок, о котором в деревне шепчутся. В замок к тому, про кого вовсе молчат, крестьясь. Сыта, одета, деньги платят — грех жаловаться. А вдруг и до неё доберётся? Вдруг однажды ночью дверь распахнётся, и на пороге встанет он — с чёрными глазами, с руками в крови, как вчера у колодца?

Ильяна зажмурилась, сжалась под одеялом в комок. Шёпотом, едва шевеля губами, зашептала молитву — ту, что помнила с детства, сбивчивую, искреннюю. Молитва не помогала. Страх оставался — липкий, холодный, свивший гнездо под сердцем.

Во дворе стихли шаги. Хлопнула дверь. Тишина. Только факел шипел на стене, отбрасывая дрожащий свет на утоптаный снег.

Глава пятая

Утро выдалось серым, под стать всем предыдущим. Молчание проснулась, едва за окном забрезжил свет, и села на край постели, кутаясь в шкуру. В камине ещё теплились угли — она научилась подкладывать дрова, помнила его приказ. В комнате держалось тепло. Вода в кувшине, принесённая вчера, успела остыть, но её это не смущало.

Господин не приходил уже четыре дня.

Она свыклась с тишиной. Научилась есть без приказа — потому что он велел. Научилась спать лёжа — потому что он велел. И ждала. Каждое утро — лицом к двери, с прямой спиной, руки на коленях. Ждала не работы, не наказания — просто его.

Зачем — не знала. Слова для этого чувства в её языке не существовало.

Дверь открылась без стука.

Молчание вздрогнула, вскинулась. На пороге стоял Влад с подносом — сам, не Ильяна, не Алина, не кто-то из слуг. Высокий, широкоплечий, в тёмной рубаше, с мокрыми после умывания волосами. Лицо неподвижное, как всегда, но глаза — она успела заметить — смотрели пристальнее обычного.

Внутри что-то дёрнулось. Не страх. Что-то другое, чему она пока не знала названия.

Следом накатило воспоминание: грохот двери, вырванное из рук ведро, его лицо, искажённое яростью. Она виновата. До сих пор не попросила прощения. До сих пор не получила наказания — значит, оно по-прежнему висит над головой, неотменённое, невысказанное.

Сползла с постели на пол. Колени ударились о половицы. Спина выгнулась в поклоне — низко, униженном, заученном до автоматизма.

— Простите, господин. Простите.

Слова хлынули потоком — сбивчивые, полужадушенные, на смеси русского с турецким. Она не замечала, что перескакивает с языка на язык. Просила прощения за ведро, за воду, за то, что мылась неправильно, за то, что разгневала его, за то, что живая, за то, что дышит.

Влад замер на пороге. Поднос в его руках застыл, пар от горячей каши поднимался к лицу.

Слушал. Смотрел, как она бьётся лбом о доски. Как плечи дрожат, как пальцы скребут половицы. Как слова — русские, турецкие — мешаются в сплошной молитвенный шёпот.

И не выдержал.

Поднос глухо стукнул о стол. Три шага — половицы застонали под тяжестью. Опустился перед ней на корточки — так, чтобы оказаться ниже, а не нависать сверху, возвышаясь.

— Я не зол. Слышишь? Не зол. — Голос прозвучал глухо, сдавленно, точно слова выбивались через силу. — Больше никогда не смей мыться холодной водой. Ты не вещь.

Она затихла. Шёпот оборвался на полуслове. Пальцы замерли на половицах.

Не вещь.

Слова прозвучали чуждо, непонятно. Весь прежний мир держался на ином: раб — вещь, имущество, тело для работы и наказания. А если она не вещь, то кто? Что? Куда деть руки, привыкшие только работать? Куда деть тело, привыкшее только терпеть?

Подняла голову. Впервые за всё время посмотрела на него не снизу вверх, а прямо — глаза в глаза. В его взгляде стояло что-то тёмное, напряжённое, совсем не похожее на ярость.

Влад выпрямился, развернулся и вышел — быстро, не оглядываясь. Дверь закрылась без стука.

Она осталась на полу. Завтрак остывал на столе. Пар больше не поднимался над кашей.

Губы шевельнулись беззвучно, пробуя слова на вкус, как пробуют незнакомую пищу:

— Не вещь.

Чуждое. Непонятное. И всё же — что-то внутри дрогнуло. Не оттаивание. Пока — только первый толчок. Первое движение льда, тронувшегося где-то глубоко, на самом дне.

Алина пришла днём. Вошла без стука — не потому, что не уважала, а потому, что стучать в замке было не принято. В руках — свёрток из серого полотна. Развернула, встряхнула, разложила на лавке.

Платье. Простое, тёмно-синее, из той самой шерсти, что Влад принёс накануне. Глухой ворот, длинные рукава, прямая юбка до щиколоток. Ни вышивки, ни кружев, ни оборок — только два ряда костяных пуговиц на груди да аккуратный шов на подоле. Добротное. Скромное. Женское.

— Вот, — Алина разгладила складку ладонью. — Марфа за ночь сшила. Говорит, на первый раз сгодится. А к концу седмицы накидка поспеет, медвежья. Тёплая.

Молчание перевела взгляд с платья на женщину, потом снова на платье. Мужская рубаха, в которой она ходила последние дни, болталась на плечах, открывала ключицы, едва доходила до середины голени. Одежда — просто ткань, чтобы не мёрзнуть. О чём тут думать.

— Бесстыдно ведь, — добавила Алина, складывая руки на груди. — Девке в мужской рубахе ходить.

— Бесстыдно? — переспросила Молчание.

Слово оказалось незнакомым. Она знала «стыд», знала «наказание», знала «вину». Бесстыдство — это что-то другое, не связанное с плетью и приказом.

Алина хотела было объяснить, но запнулась. Посмотрела на неё — на этот пустой, непонимающий взгляд, в котором ни тени кокетства, ни намёка на женское тщеславие, — махнула рукой и усмехнулась:

— Ладно. Носи как знаешь.

Развернулась и вышла. Дверь притворилась.

Молчание осталась одна. Подошла к лавке, провела ладонью по шерсти. Ткань оказалась мягкой, чуть колючей, пахла дымом печи и сушёными травами. Сняла мужскую рубаху, надела платье. Рукава легли чуть длинновато, в талии шерсть не обтягивала, не стесняла движений. Ворот сидел ладно — не душил, не топорщился.

Подошла к окну. В мутном стекле отразился тёмный силуэт. Долго вглядывалась, потом отвернулась, села на край постели, положила руки на колени.

Ждала.

Вечер наступил медленно. Солнце ушло за вершины рано, оставив небо в серых и сизых разводах. В камине горел огонь. Кувшин с водой стоял на столе. Угли дышали жаром. Господина не было.

Молчание поднялась и вышла в коридор.

Шла, ведя ладонью по стене. Камень холодил пальцы, но не обжигал — привыкла. Босые ступни ступали почти беззвучно. Остановилась, прислушалась. Где-то далеко, на нижнем этаже, хлопнула дверь, донёсся голос Марфы — и снова тишина.

Его дверь была закрыта. Из-под створки пробивался слабый свет.

Подняла руку. Опустила. Снова подняла. Пальцы зависли у дерева.

Страх никуда не ушёл — привычный, застарелый, въевшийся в тело. Рядом с ним проступало что-то ещё. Не смелость. Скорее, желание быть ближе. Не для прощения, не для приказа. Просто — ближе.

Простояла минуту, другую. Опустила руку.

Отошла к лестнице, села на верхнюю ступеньку, обхватила колени руками. Снизу доносились приглушённые голоса — Марфа переговаривалась с Лукой, звенела посудой. Сверху, из его комнаты, не долетало ни звука.

Так прошёл час. Или два. Холод пробрал до костей. Поднялась, потопталась на месте — ступни одеревенели, — вернулась к себе.

Следующий день тянулся в том же ожидании. Завтрак принесла Иляна — быстро, молча, не поднимая глаз. Алина заглянула проверить, не нужно ли чего. Лука доставил дрова, поклонился и исчез. Господин не появлялся.

К вечеру Молчание больше не могла усидеть на постели. Встала, вышла в коридор, приблизилась к его двери. Остановилась у самой створки. Подняла руку. Опустила. Подняла снова. Замерла.

То, что она собиралась сделать, противоречило всему, чему её учили. Рабыня не входит к господину без зова. Рабыня не открывает дверей. Рабыня ждёт.

Но он сказал: «Ты не вещь».

Толкнула створку.

Дверь подалась с тихим скрипом.

В камине горел огонь. На полу лежала медвежья шкура. В кресле у огня сидел Влад, смотрел на пламя. Не обернулся.

Она замерла на пороге, вцепившись одной рукой в дверь. Сердце колотилось где-то в горле.

Влад медленно повернул голову. Посмотрел на неё — на худую фигурку в синем платье, на побелевшие пальцы, сжимавшие створку.

— Входи, — произнёс тихо. — Садись.

Она не двинулась с порога. Пальцы всё ещё сжимали дверную створку — костяшки побелели, дыхание оставалось частым, поверхностным. Приказ «сядь» прозвучал ясно, но тело отказывалось подчиняться — не из упрямства, а потому что ноги приросли к половицам.

Влад не повторил. Просто ждал, отвернувшись к огню, давая ей время.

Минута прошла в тишине, за ней другая. Пламя в камине потрескивало, выстреливало искрами, тени на стенах вздрагивали и замирали вновь. Запах горелого дерева мешался с чем-то ещё — сухим, травяным, тем, что Марфа бросала в огонь для духа.

Наконец Молчание отпустила дверь. Та качнулась, но не закрылась — осталась приоткрытой, впуская в комнату холод коридора. Шаг. Ещё один. Нерешительно, будто ступая по тонкому льду, пересекла комнату и опустилась на пол у края медвежьей шкуры — не рядом с креслом, чуть поодаль. Села, поджав ноги, положила руки на колени. Спина прямая, голова опущена.

Хорошая рабыня. Послушная. Сломали на совесть.

Влад бросил короткий взгляд — на прямую спину, на сложенные руки, на макушку с пробором спутанных волос, — и ничего не сказал. Отвернулся к огню.

Тишина сгустилась. Такая бывает только в горах, глубокой ночью, когда даже ветер затихает за стенами и весь мир сжимается до одной комнаты, одного камина, двух дыханий — частого, неровного и медленного, почти неслышного.

Поленья прогорели до середины, рассыпались алым. Угли дышали жаром. Тени на стенах колыхались, как живые. Время текло незаметно — не требовалось ни слов, ни движений. Просто огонь. Просто двое перед ним.

Молчание не шевелилась. Впервые за долгие годы — может, впервые в жизни — она сидела без дела и без приказа, просто потому что её попросили сесть. Никто не требовал. Никто не бил. Можно было смотреть на пламя, на то, как языки лижут дерево, как огоньки пробегают по углям. Можно было ни о чём не думать. Можно было просто дышать.

Веки налились тяжестью незаметно. Тепло от камина окутывало, как вода в бадье — только мягче, глубже. Плечи опустились сами собой. Спина потеряла жёсткую прямогу. Голова склонилась набок, потом ещё ниже — подбородок коснулся груди.

Дыхание выровнялось, сделалось глубоким, спокойным. Пальцы разжались, выпустили складки платья.

Она уснула.

Влад услышал, как изменился ритм её сердца — с частого, тревожного на медленный, ровный. Повернул голову. Она лежала на боку, подтянув колени к животу, как спят дети, уставшие за день. Щекой — на медвежьей шкуре. Волосы упали на лицо. Губы чуть приоткрыты. Ни страха, ни напряжения — только покой, какого он не видел в ней прежде ни разу.

Шаги в коридоре.

Лёгкие, осторожные, почти бесшумные — он различил их сразу. Ильяна. Проходила мимо, несла что-то в людскую — стопку белья или корзину с рукоделием. Замедлилась у приоткрытой двери и остановилась.

Влад не обернулся. Знал: стоит пошевелиться — спугнёт обеих.

Ильяна заглянула в щель. То, что она увидела, заставило её замереть: господин сидел в кресле, подавшись вперёд, опершись локтями о колени, и смотрел вниз. А внизу, на шкуре у его ног, лежала девушка — худая, в синем платье, с разметавшимися волосами. Неподвижная. То ли спит, то ли без сознания — не разобрать. Он смотрел на неё не отрываясь, не моргая, как зверь, стерегущий добычу, как хищник, который ещё не решил, отпустить жертву или прикончить.

Сердце Ильяны зашлось. Пальцы сами прижались к губам. Попятилась — бесшумно, боясь скрипнуть половицей, — развернулась и зашагала прочь. Быстрее, быстрее, почти бегом. Скорее прочь от этой двери, от этой тишины, от этого взгляда, которого не могла понять и оттого боялась ещё больше.

Влад слышал, как она уходит. Не обернулся. Пусть боится. Страх слуг — не его забота.

Он смотрел на спящую.

Упрямый подбородок, который никогда не опускался, даже когда следовало бы. Заряна пахла сушёными травами и тёплым хлебом. Смеялась низко, грудью. Не умела бояться того, что следовало. Не боялась его.

Молчание — совсем другая. Ни смеха, ни упрямства. Тихая, сломленная, пустая, как дом, из которого ушли все жильцы. И всё же сейчас, во сне, она напомнила ему Заряну — не внешностью, не голосом, а тем, как доверчиво повернулась щекой к огню. Как перестала ждать удара.

Давняя боль шевельнулась под сердцем — старая, притупившаяся, но не исчезнувшая. Та, что жила там с тех пор, как он нашёл Заряну у колодца.

Влад поднялся. Бесшумно, как умел только он. Снял с кровати тёплую шкуру — медвежью, тяжёлую, — подошёл к спящей и опустился рядом на корточки. Укрыл. Поправил край у плеча, чтобы не дуло. Она не проснулась — только вздохнула глубже и плотнее закуталась в мех.

Он остался на полу. Прислонился спиной к креслу, вытянул ноги к огню. Пламя догорало, угли подёрнулись серым пеплом. За окнами стояла глубокая ночь — та самая, в которую он обычно уходил в лес или сидел один, глядя в темноту.

Сейчас никуда не хотелось.

Час спустя, когда камин почти погас и холод начал подбираться к спящей, Влад поднялся, наклонился и подхватил её на руки вместе со шкурой. Она оказалась такой же лёгкой, как в первый раз, — почти невесомой, доверчиво прижавшейся щекой к его плечу. Пронёс через коридор, толкнул дверь её комнаты, опустил на постель. Укрыл шкурой поверх одеяла. Выпрямился.

Минуту стоял, глядя на спящую. Затем вышел и притворил дверь.

Наутро она проснулась в своей постели — укрытая медвежьей шкурой, той самой, что накануне лежала у камина в его покоях. С минуту разглядывала её, потом откинула, села, опустила босые ступни на половицы.

Господин отнёс её сюда. Сам. Она уснула у его ног, на его шкуре, а он не разбудил, не прогнал — поднял на руки и уложил в постель.

Мысль выходила странная, неуютная, не укладывалась в привычный порядок вещей. Рабыня, уснувшая у ног господина, заслуживает пинка. Она не получила пинка. Она получила шкуру поверх одеяла.

Оделась, заплела волосы, умылась холодной водой из кувшина. Ждала. Когда в коридоре послышались его шаги — тяжёлые, ровные, узнаваемые уже из тысячи, — поднялась и вышла навстречу.

Он нёс поднос с завтраком. Увидел её в дверях, остановился.

— Простите, господин. — Голос тихий, но уже без дрожи. — Я вчера уснула. В ваших покоях. Простите.

Влад поставил поднос на стол, повернулся к ней.

— Не извиняйся. Мне было приятно, что ты пришла.

Слова прозвучали глухо, неловко, будто он сам до конца не понимал, зачем их произносит. Она подняла глаза — впервые без страха, без ожидания удара. Просто посмотрела. Он выдержал взгляд.

После этого она начала приходить.

Не каждый вечер — через день, иногда через два. Подходила к его двери, замирала у створки, поднимала руку. Теперь пауза длилась короче. Теперь пальцы, зависшие у дерева, всё чаще опускались на дверь и толкали её.

Он сидел в кресле у камина. Она устраивалась на шкуре у огня — чуть ближе, чем в прошлый раз. Не рядом, но уже и не у самого края. Молчали. Огонь трещал, тени плясали на стенах. Говорить было не о чём — вернее, она не знала, о чём можно беседовать с господином, который не приказывает. Иногда ей казалось, что надо что-то сказать, и она мучительно искала слова, но не находила — и молчала дальше. Влад тоже безмолвствовал. Тишина не тяготила его. Тяготило другое — непривычное, забытое: рядом находился кто-то, пришедший сам. Не по приказу, не по нужде. Просто пришёл и сел у его огня.

Однажды, когда она поднялась уходить, он проговорил, не глядя в её сторону:

— Ты не обязана приходить. Заставлять себя не нужно.

Она замерла у двери, обернулась. Он по-прежнему смотрел в пламя. Лицо неподвижное, голос ровный.

Минуту стояла, подбирая слова. Не нашла. Просто кивнула — коротко, едва заметно, — и вышла.

На следующий вечер пришла снова.

Помедлила у двери дольше обычного — может, вспомнила его слова, может, проверяла себя, — толкнула створку. Опустилась на шкуру у камина. Он не повернулся. Плечи, однако, чуть опустились, будто ушло напряжение, которого она не замечала.

В камине горел огонь. Тени дрожали на стенах, как всегда, и в комнате было тепло.

Глава шестая

На следующий вечер она не пришла.

Простояла у двери, подняла руку, опустила — и отступила. Господин сказал: «Мне было приятно». Но слова господина — зыбкая материя. Сегодня приятно, завтра разгневан. Она знала это по прошлому: хозяин в турецком доме порой бывал добр, а после бил за то, за что вчера хвалил. Лучше не рисковать. Лучше сидеть у себя и ждать, пока позовут.

Влад заметил её отсутствие. Не сразу — сперва просто сидел у камина, глядя в огонь, и лишь когда тени от поленьев удлиннились, а за окном совсем стемнело, поймал себя на том, что прислушивается. Не к шагам — к тишине за дверью. К той тишине, которая раньше казалась полной, а теперь отчего-то сделалась пустой.

Он не пошёл за ней. Не окликнул. Не пришла — значит, не захотела. Или не смогла. Или боится. Тащить силой он не станет. Не затем вытаскивал её из турецкого лагеря, чтобы сделаться ещё одним хозяином, которого страшатся.

Но мысль засела.

На следующий вечер она снова стояла у его двери. Подняла руку, замерла, опустила. Снизу донеслись голоса — Арина с Иляной возвращались из людской, переговаривались громко, перебивая друг друга. Звонкий смех ударил о каменные стены, отразился от сводов.

Память бросила не спросясь.

Голоса других служанок, турецких, таких же звонких. Они смеялись, когда она прошла мимо с пустым ведром, — третий день без еды, в животе пустота, во рту сухо. Она вылечила троих воинов, как велели, и пришла просить хотя бы лепёшки. Жена старшего надсмотрщика — шёлковый платок, крашенные хной пальцы — брезгливо отдёгнула подол: «Грязная». И толкнула к двери. После явился хозяин. Кричал, что она посмела сунуться без спроса, что не закончила работу, что рабыня, которая лезет к господам, забыв своё место, заслуживает напоминания. Ремень. Лицом об стену. Долго. Пока не перестала кричать. Еду не дали. Сказали: пока не вылечишь всех — ни крошки.

Голоса внизу стихли. Арина с Иляной ушли в людскую. Молчание стояла у стены, вжавшись плечами в холодный камень, и не сразу услышала шаги за спиной.

— Заходи.

Голос Влада. Она вздрогнула — тело помнило другое, — но обернулась. Он стоял в нескольких шагах, смотрел спокойно, без угрозы.

— Я как раз шёл к себе.

Помедлив мгновение, она вошла следом. Опустилась на шкуру у огня. Он сел в кресло. Молчали.

Огонь трещал. Тени дрожали на стенах. В конце вечера, когда она поднялась уходить, он вдруг проговорил, глядя в пламя:

— В Ростове снег выпадал раньше. Ещё до Покрова. Дети лепили баб у ворот.

Она замерла у двери, обернулась. Он смотрел в огонь, не на неё.

— Что такое бабы? — спросила тихо. По-турецки она знала слово «kadın» — женщина. Но при чём тут снег и ворота, не понимала.

Влад чуть повернул голову.

— Снежные. Из снега лепят. Три шара друг на друге. Вместо глаз — угли.

Она стояла, пытаясь представить. Три снежных шара. Угли вместо глаз. Дети у ворот. Картинка выходила странная, нестрашная, ни на что не похожая.

И вдруг — толчок. Смутное, почти стёртое: снег. Не этот, горный, а другой — мягкий, пушистый, падающий на соломенную крышу. Чьи-то руки лепят снежный ком. Смех. Кажется, брат. Кажется, их было двое. Или трое? Лица размыты. Холод снега в ладонях — настоящий. И

тепло. Материн платок? Или просто солнце? Отец стоит у ворот — невысокий, широкоплечий. Смотрит. Вдруг лицо его искажается — не злостью, хуже. Страхом. «Ведьма», — выдыхает он. И боль. Резкая, от затылка до поясницы. Она не помнит, ударил он или только замахнулся. Помнит лишь, что падает в снег. А потом — темнота. А потом — турки.

— Поняла, — сказала едва слышно.

Кивнула быстрее, чем собиралась, и вышла. Почти выбежала. Дверь в свою комнату толкнула ладонью, притворила. Опустилась на пол у стены, прижала колени к груди. Не плакала. Просто сидела, уткнувшись лицом в колени, и дышала. Снежные бабы с угольными глазами больше не снились.

После этого вечера она стала приходить чаще. Через день, иногда два дня подряд. Приближалась к двери, замирала лишь на пару мгновений и толкала створку. Опускалась на шкуру — уже не у самого края, чуть ближе к креслу. Молчала. Ждала. Порой он ронял фразу-другую, порой они весь вечер сидели без единого слова, и это больше не тяготило.

Однажды он произнёс, глядя в огонь:

— У моего младшего брата был кот. Серый, одноглазый. Спал у него на груди.

Она уже знала слово «кот». Знала слово «брат». Спросила только:

— Одноглазый — это какой?

— Второй потерял. В драке или от болезни. Уличный был. Дранный. Но брат его любил.

Помолчал и добавил тише:

— Глеб вообще любил всё живое. Даже то, что его царапало.

Имя прозвучало впервые — «Глеб». Она не спросила, кто это. Уже понимала: брат.

В другой вечер он рассказывал про озеро Неро. Про туман над водой. Про запах рыбы и мокрого дерева. Про отца, который стоял на крыльце и говорил: «Не кланяйся». Слово «кланяться» оказалось незнакомым, и он объяснил — коротко, без лишнего. Она поняла: это когда сгибают спину перед тем, кто сильнее. Как она сама делала всю жизнь. Отец господина велел этого не делать. Странно. Но она запомнила.

Разговоры выходили короткими — две-три фразы, редко больше. Однако из них, как из осколков, складывалось что-то новое. Она узнавала слова, которых прежде не знала. Он вспоминал то, что не вспоминал столетиями. И первое, и второе давалось непривычно, почти болезненно — как первый вдох после долгого бега.

Влад ловил себя на том, что ждёт вечера. Не каждого — иные дни тянулись в привычном одиночестве, он не тяготился ими. Однако когда она не приходила три вечера подряд, он замечал. Не звал. Не шёл за ней. Просто сидел у камина и слушал тишину, которая снова начинала казаться пустой.

В один из дней Алина принесла свёрток. Развернула на лавке — ещё одно платье, серое, из мягкого сукна, и накидку: тёплую, на меховой подкладке, ту самую, что Марфа шила из медвежьей шкуры.

— Господин велел, — сказала коротко. — Чтобы не мёрзла.

Молчание стояла над свёртком, не прикасаясь. Одежда. Новая. Для неё. Не обноски с чужого плеча, не тряпье, которым прикрывают тело, чтобы не смотреть стыдно. Две вещи. И накидка. Тёплая.

Она не знала, куда деть это чувство. Оно распирало грудь изнутри, требовало выхода, но выхода не находилось — слова благодарности отсутствовали в языке рабыни. Рабыня не благодарит. Рабыня принимает и кланяется.

— Спасибо, — выдавила она. Слово прозвучало чужеродно, будто она впервые пробовала его на вкус.

Алина обернулась у двери:

— Не мне. Господину скажешь.

И вышла.

В тот вечер Молчание пришла к камину раньше обычного. Села на шкуру, долго молчала, потом подняла глаза на Влада.

— Господин.

Он повернул голову.

— Накидка — Она запнулась. — Спасибо.

Слово снова далось с трудом, будто она выталкивала его из горла. Он смотрел на неё мгновение, затем отвёл взгляд к огню.

— Носи. Холодно.

Больше ничего не сказал. Однако в тот вечер, когда она уходила, ей почудилось, что уголок его рта дрогнул. Может, тени от камина. Может, нет.

Она ушла. Дверь притворилась. Влад остался у камина.

Спасибо. Одно слово, а далось с таким трудом, будто она поднимала его из колодца голыми руками. Но сказала. И, кажется, впервые за всё время не опустила глаза.

Он смотрел в огонь. Вечера с ней будили забытое. Не надежду — он давно не позволял себе этой роскоши. Скорее, ощущение, что в груди ещё что-то шевелится. Не мёртвое. Не до конца.

Память подбросила Заряну. Её смех, её руки в муке, босые ступни на тёплом полу. Она тоже умела быть благодарной — но иначе, открыто, без страха. Благодарила — и тут же требовала чего-то ещё. Живая. Слишком живая для него.

У колодца он нашёл её мёртвой.

Влад потёр переносицу. Пять веков. Казалось бы, довольно, чтобы забыть. Но память не отпускала. Ни Заряну, ни братьев, ни отца. Теперь ещё и эта. Сидит у его камина, мнётся у двери, вздрагивает от чужих голосов. Каждый шаг вперёд даётся ей с таким трудом, что больно смотреть. И всё же она идёт. Понемногу. Несмотря ни на что.

Он подбросил полено в огонь. Пламя взметнулось, тени на стенах дрогнули. Думать об этом дальше не хотелось.

Дни шли. Она приходила, садилась у огня, слушала его редкие фразы. Спрашивала слова. Он объяснял. Она запоминала. Порой, очень редко, говорила что-то сама — не вопрос, не просьбу, простое замечание. «Снег сегодня выпал». Или: «Птица за окном кричала». Он слушал. Не отвечал, но слушал. Ей хватало.

Однажды вечером, когда пламя уже угасало, он вдруг проговорил в своей манере — будто не ей, а огню:

— В конюшне кошка окотилась. Пятеро. Чёрные с белыми пятнами.

Помолчал и добавил глуше:

— Заряна любила котят. Говорила, у всякой деревенской девки должен быть кот. На счастье.

Повернул голову, посмотрел на неё. Взгляд тяжёлый, но без давления — так смотрят на того, кому оставляют выбор.

— Можешь посмотреть. Если хочешь.

Имя «Заряна» прозвучало впервые. Она не спросила. Слово «кот», однако, уже знала. И «котята» — тоже. Представила: маленькие, живые, тёплые. Ни разу в жизни не держала в руках ничего живого — только тряпки, вёдра, инструменты. Живое рабам не доверяли.

— Пойду, — выдохнула тихо. — Завтра.

Влад кивнул и отвернулся к огню.

Наутро проснулась раньше обычного. Оделась, заплела волосы, умылась. Поела быстро, почти не различая вкуса. Вышла в коридор, спустилась по лестнице. Кухня уже гудела голосами — Марфа гремела посудой, Лука кому-то выговаривал. Молчание миновала их незамеченной и толкнула дверь чёрного хода.

Морозный воздух обжѐг щѣки. Снег скрипел под ногами. Солнце только поднималось над горами, заливая двор белым светом. Впервые она вышла во двор сама — без приказа, без провожатых. Остановилась на мгновение, вдохнула холод.

Дверь конюшни оказалась приоткрыта. Оттуда тянуло теплом, сеном, лошадиным потом и чем-то ещё — молочным, сладковатым.

Толкнула створку и вошла.

В конюшне пахло сеном, лошадиным потом и свежим навозом. В дальнем углу, у деревянной кормушки, пристроилась кошка с выводком — пятеро слепых котят тыкались носами в её живот, пищали, переползали друг через друга. Молчание замерла у входа. Котята были совсем крошечные: чёрные с белыми пятнами, как говорил господин. Таких близко она никогда не видела.

Хотела подойти, но звук из глубины конюшни остановил её.

Тихий стон. Женский. Потом — мужской голос, низкий, с хрипотцой:

— Тише ты. Услышит кто.

Шорох соломы. Тяжёлое дыхание. Снова стон — приглушённый, сдавленный, будто человеку зажали рот. И мольба, едва различимая:

— Не надо Ты сегодня слишком груб

Молчание застыла. Тело отреагировало раньше рассудка. Пальцы вцепились в дверной косяк. В висках застучало.

Запах сена исчез. Вместо него — прелой соломы, кислого пота, железа. Не этот двор, а другой — турецкий, каменистый, с чахлыми деревьями у ворот. Она стоит в углу, в тени, и слышит те же звуки. Кого-то из рабынь уводят в сарай. Двое солдат. Стон. Мольба: «Не надо, прошу». Хриплый смех. А потом — крик. Долгий, на одной ноте.

Она помнит этот крик. Помнит другие — такие же. Случалось не раз. Не с ней — мимо неё. Кого-то уводили вечером, кого-то среди дня, и потом те женщины возвращались другими: пустыми, молчаливыми, с погасшими глазами. Ещё дышали, ещё работали, но внутри уже что-то сломалось. Некоторые не возвращались вовсе — умирали не от ран, от того, что внутри угасало. Тогда она не понимала отчего. Просто видела: утром человек был, вечером — нет.

Однажды один из солдат потянулся к ней. Рука легла на плечо, сжала. Она замерла. Второй одёрнул его:

— Нельзя. Эта лечит. Тронешь — головы нам не сносить.

Первый отступил, выругавшись. Она осталась стоять в углу — целая, нетронутая, единственная, кого обходили стороной. Проклятый дар берѐг её. Но память о тех, кого не уберегли, осталась.

Шаг. Ещё шаг.

За поворотом, в полумраке денника, Алина сидела на ворохе соломы, прижатая к деревянной перегородке. Конюх — Власий — нависал над ней, упершись руками в стену по обе стороны от её головы. Рубаха на нём задралась, волосы растрѣпаны. Алина запрокинула голову, глаза закрыты, губы приоткрыты. Платок съехал на плечо.

Молчание попятилась. Спина ударила о стойло. Хотела бежать — и не могла. В голове всплыли слова господина: «Ты не вещь». И следом, его же голосом, то, что он сказал в первый день: «Здесь тебя никто не тронет». Не обещание — простая констатация. Но Алину-то сейчас тронут. Алину, которая принесла платье. Которая ворчала и заботилась. Которая сейчас там, в соломе, и не может вырваться.

Рука сама нашарила на полу у стены что-то деревянное — черенок от вил или обломок граблей. Как замахнулась — не помнила. Помнила только глухой стук — черенок ударил конюха по спине, по рѣбрам, куда достала.

— Не не надо.

Голос сорвался на шёпот. Она отступила на шаг, прижимая черенок к груди, как щит. Плечи втянула в шею, готовая к удару в ответ. Колени дрожали.

— Не обижай её.

Конюх дёрнулся, обернулся. Лицо красное, на лбу испарина.

— Чего?!

Алина открыла глаза, заморгала. Увидела Молчание — худую, бледную, с прижатым к груди черенком, — и попыталась встать.

Конюх развернулся всем телом. Удар по рёбрам вышел несильным — черенок лёгкий, рука слабая, — но неожиданным. На миг он замер, уставившись на незнакомую девку, что стояла перед ним, прижимая деревяшку к груди, и тряслась, как осиновый лист. Потом сообразил: чужая. Влезла. Ударила. Лицо его побагровело.

— Ты чего творишь, дура?! — рявкнул он. Голос полетел под своды, вспугнул голубей под крышей. — Кто такая? Пошла вон отсюда!

Молчание не ответила. Только крепче сжала черенок, хотя руки ходили ходуном.

— Власий! — Алина вскочила на ноги, одёрнула юбку. — Не трогай её. Господин не простит.

Упоминание господина подействовало. Конюх осёкся, выдохнул, но злость ещё клокотала.

— Да я и не трогал! Сама влезла. — Он шагнул ближе, вглядываясь в незнакомку. — Что она тут вообще забыла?

Алина открыла рот, но Молчание ответила первой. Голос сел до шёпота:

— Я искала кошку. А вы... вы её обижали.

Алина рассмеялась — зло, нервно. Смех вышел коротким, сорванным, как удар хлыста.

— Совсем ума лишилась? Я думала, ты застала нас... а ты с палкой! — Она одёрнула платок, поправила сбившуюся прядь. — Да я сама его попросила. Мы любим друг друга, дура ты. А ты... ты ничего не понимаешь. Ты вообще ничего не знаешь.

Голос сорвался, но она справилась. Отвернулась, демонстративно оправляя платье, пряча за движениями стыд и злость. Конюх сплюнул на солому, прошёл мимо, задев Молчание плечом — не сильно, та лишь пошатнулась.

— Беги к своему господину, — бросила Алина уже от двери, не оборачиваясь. — А нас не трогай.

И вышла.

Молчание осталась в конюшне одна. Прислонилась затылком к шершавому дереву. Пальцы всё ещё сжимали черенок. Медленно сползла спиной по стене, села на солому.

Кошка в углу замурлыкала. Котята пищали, тыкаясь слепыми мордочками в тёплый бок.

Она не плакала. Просто сидела и смотрела в одну точку. Хотела защитить — накричали. Хотела помочь — вышло только хуже. Никто не ударил, но внутри всё равно саднило, будто ударили. Почему — она не понимала.

Поднялась, положила черенок на место — к стене, где лежали вилы. Вышла во двор. Снег скрипел под ногами. Солнце уже стояло высоко, а ей всё равно было холодно.

Вернулась к себе. Села на край постели, положила руки на колени. Внутри жило странное, незнакомое чувство: не страх, не голод, не боль. Будто что-то сжалось под рёбрами и не отпускало. Названия этому она не знала.

На следующий вечер она пришла к господину тише обычного. Не спрашивала слов, не задавала вопросов. Просто опустила на шкуру, поджала ноги и уставилась в огонь.

Влад заметил. Сперва просто сидел, ждал, не заговорит ли сама. Она молчала. Тогда он спросил:

— Ты ходила смотреть кошку?

Молчание кивнула — коротко, едва заметно, — и ничего не добавила. Он не стал спрашивать. Решил: скажет, когда захочет.

Через день Алина принесла воду для умывания. Вошла, поставила кувшин на стол. Молчание поднялась, хотела что-то сказать — и не успела. Алина глянула на неё с досадой, с затаённой обидой, — поджала губы, развернулась и вышла, не проронив ни слова. Дверь закрылась плотно. Молчание осталась стоять над кувшином.

В груди снова засадило.

Минуло ещё два вечера. Она приходила к камину, садилась, молчала. Влад видел: что-то гложет, но не торопил.

Через два вечера она снова пришла. Села на шкуру. Долго молчала, теребя край платья, потом выдавила, глядя в пол:

— Господин. Если люди злятся значит, Молчание дурочка?

Влад повернул голову. Она сидела сжавшись, пальцы мяти ткань. Он знал эту позу — так ждут приговора.

— Нет, — сказал ровно. — Ты не дурочка. Тебя не учили.

Она подняла глаза. Он смотрел на неё спокойно, без жалости.

— То, что ты видела в конюшне, — не боль, — проговорил он. — Служанка не плакала. Она была там по своей воле.

— Я слышала. «Слишком груб». «Не надо».

— Такие слова иногда говорят от страсти. Не только от боли. — Помедлил. — Власий — конюх. Простой, громкий, не злой. Грубоват, но не мучитель. Я знаю их обоих достаточно давно.

Молчание молчала. Потом едва слышно:

— Я думала обижают.

— Ты не знала. А теперь знаешь.

Она опустила взгляд. Пальцы теребили складку. Тишина тянулась долго. Он ждал. За пять веков научился ждать — слова приходят не сразу, особенно такие.

Потом она заговорила снова — тихо, сбивчиво, глядя в огонь:

— В рабстве такие же звуки. Уводили. Не меня — других. Они потом пустые. Некоторые умирали.

Влад слушал. Лицо оставалось неподвижным. Пальцы, лежавшие на подлокотнике, медленно сжались. Дерево под ними едва слышно скрипнуло.

— Меня не трогали, — продолжала она, не замечая. — Та, что лечит, нужна живой. А они — Голос дрогнул и сел. — Они возвращались и больше не смеялись. Я думала — Алину тоже. Я не хотела видеть её с пустыми глазами.

Дерево под его пальцами хрустнуло — глухо, коротко. Трещина побежала по тёмному лаку. Влад опустил взгляд на ручку, разжал пальцы. Выдохнул — медленно, длинно, как делал всегда, когда зверь рвался наружу.

Злость. Не на неё. На турок. На каждого, кто научил её, что близость — это только боль. На тех, кого уводили в сарай. И на себя — за то, что пять веков спустя всё ещё бессилён перед этим.

Он поднял глаза на Молчание. Она смотрела на него — испуганно, непонимающе. Слышала хруст. Причины не поняла.

— Ты сделала правильно, — произнёс он. Голос оставался ровным, но звучал ниже обычного. — Услышала — подумала, что больно. Попыталась остановить. В этом нет глупости.

Она не ответила. Он продолжил:

— Алина злится не потому, что ты плохая. Ей стыдно, что застали. Стыд она превращает в злость. Это пройдёт.

Молчание смотрела на него. Слова оседали медленно, как всегда.

— Мне нужно просить прощение, — сказала она.

— Когда будешь готова.

Поднялась и вышла. Дверь притворилась.

Влад остался в кресле. Посмотрел на ручку с трещиной, провёл пальцем по расколотому лаку. Ещё одно свидетельство того, что он не человек и никогда им не станет. Сейчас это не имело значения.

Он закрыл глаза и снова выдохнул. Перед внутренним взором стояли не турки, не Алина с конюхом. Просто она — сжавшаяся на шкуре, теребящая платье, спрашивающая, дурочка ли она.

Дурочка. Если бы.

На следующий день Молчание решилась.

Спустилась по лестнице — дальше, чем обычно. Дальше, чем дверь господина. Дальше, чем собственная комната. Ноги несли её туда, где она прежде бывала лишь раз или два, — на кухню. Запахи ударили в нос: тёплый хлеб, зола, топлёное сало, сухие травы под потолком.

Марфа стояла у печи, помешивая что-то в котле. Алина сидела за столом, чистила морковь. Нож размеренно стучал по доске. Обе подняли головы, когда Молчание замерла у входа — худая, напряжённая, вцепившись пальцами в косяк.

— Здравсте, — сказала Марфа с лёгким удивлением. — Совсем гостя к нам спустилась.

Молчание не ответила. Смотрела на Алину. Та встретила взгляд, потом демонстративно отвела глаза и продолжила чистить морковь. Нож стучал чаще, резче.

— Алина, — выдавила Молчание. Голос сел. — Я про конюшню. Я хотела

Алина замерла. Нож застыл в руке. Быстрый взгляд на Марфу — та по-прежнему мешала в котле, но ухо наверняка уже направило. Щёки Алины вспыхнули.

— Чего? — бросила она резко, не давая договорить. — Чего пришла?

— Я простить

— Выйдем-ка, — оборвала Алина.

Вскочила, схватила Молчание за запястье и потащила за собой. Пальцы сжали крепко, почти до боли. Молчание споткнулась, дёрнулась, но Алина уже выволокла её через чёрный ход во двор. Дверь хлопнула.

— Ты что, совсем дура?! — зашипела она, отпуская её руку. — При Марфе? Про конюшню? Хочешь, чтобы весь замок знал?

Молчание вжалась в стену. Сердце колотилось. Хватка Алины вышла не сильной, но неожиданной — тело отреагировало прежде, чем разум. Плечи вздрогнули, руки прижались к груди. Смотрела испуганно, непонимающе: снова кричат. Снова злятся. Снова она сделала что-то не так.

Алина открыла рот, чтобы добавить ещё, — и осеклась. Увидела её лицо. Увидела, как Молчание вжалась в стену, как закрылась руками, как взгляд заметался в поисках выхода.

Шумно выдохнула. Злость ушла — не вся, но большая часть, оставив лишь усталость.

— Ладно, — сказала тише. — Говори, что хотела.

Молчание судорожно перевела дыхание.

— Я простить прощения, — вытолкнула она. — Господин сказал. Конюх любит. Не вредит. А я думала больно.

Запнулась, подбирая слова.

— Я думала — тебе плохо. Хотела помочь. А ты злишься. Я виновата.

Алина слушала, скрестив руки на груди. Смотрела на эту несчастную, трясущуюся девчонку, которая три минуты назад получила нагоняй ни за что — и всё равно пришла извиняться. За то, что пыталась защитить. За то, что не поняла. За то, что не знала.

Что-то внутри дрогнуло.

— Дурочка ты, — сказала она, но теперь без злости. Скорее, с непонятной тоской. — И зачем тебе меня защищать? Мы ж тебе никто.

Молчание подняла глаза. Ответила не сразу.

— Ты платье принесла. И накидку. И не била.

Алина молчала, потом усмехнулась — криво, но уже не обиженно.

— Ладно. Живи. Только больше не лезь с палкой на моего конюха. Он теперь в конюшню спокойно зайти не может. Всё оглядывается — не летит ли в него деревяшка какая.

Молчание не поняла, шутка это или нет. Алина, однако, больше не злилась. Это было главное.

— Прощаю, — сказала она уже совсем тихо. — Слышишь? Прощаю. Теперь пошли, холодно.

Развернулась и зашагала обратно. У двери обернулась, проверила — идёт ли Молчание следом. Та шагнула вперёд, всё ещё прижимая руки к груди, но уже не вжимаясь в стену.

На кухне Марфа месила тесто. Проводила их взглядом — Алина вернулась к моркови, Молчание замерла у стола, не зная, что делать.

Марфа оторвалась от теста, вытерла руки о передник и оглядела обеих — покрасневшую Алину, смущённую Молчание, — после чего хмыкнула:

— Чего уж ты сидишь? Гостя-то, поди, голодная. Наложить ей булочек с корицей — как раз подоспели. И чая горячего завари. Морковь потом дочистишь, никуда не убежит.

Алина открыла рот, хотела возразить, но Марфа уже отвернулась к печи, давая понять, что разговор окончен. Возражать ей выходило всё равно что спорить с зимой.

— Ладно, — вздохнула Алина. Взяла чистую тряпицу, уложила в неё несколько румяных булочек — тех, что только-только вышли из печи, с сахарной коркой и запахом корицы. Налила в кружку горячего чая, густо заваренного, как любили в замке. Поставила всё на поднос и кивнула Молчании:

— Пошли. Провожу.

Молчание двинулась за ней — через коридор, мимо кухонной двери, вверх по лестнице. Алина шагала быстро, но у двери её комнаты притормозила, пропуская спутницу вперёд. Та толкнула створку, и Алина вошла следом.

Поставила поднос на стол, поправила кружку. Развернулась, чтобы уйти, но у двери задержалась. Обернулась, глядя на Молчание исподлобья — не зло, задумчиво.

— Слушай а имя-то у тебя странное. Молчание. Кто тебя так назвал?

Молчание подняла глаза.

— Господин.

Алина чуть наклонила голову, ожидая продолжения. Та, помедлив, добавила:

— Сказал: «С тобой тихо».

Алина помолчала, пожала плечами — не пренебрежительно, скорее в знак того, что ей трудно понять, но она принимает.

— Станный он, — проговорила задумчиво. — И ты странная немного. Ладно. Ешь давай. Остынет.

И вышла. Дверь притворилась.

Молчание стояла посреди комнаты, глядя на поднос. Булочки пахли корицей и сладким тестом. Чай поднимался паром, согревая воздух. Села за стол, взяла одну — тёплую, мягкую, — откусила кусочек. Корица обожгла язык, сахар хрустнул на зубах.

Странное, давно забытое чувство шевельнулось внутри.

Глава седьмая

Деревня лежала в долине, в двух часах ходьбы от замка, — десятка три дворов, церквушка с покосившимся крестом, мельница у ручья. Январский мороз сковал всё вокруг, снег лежал плотным настом, и единственная улица, по которой брела Иляна, звенела под ногами.

Марфа отправила её за травами — сушёная мята подходила к концу, а у местной травницы, говорили, уродился добрый сбор. Иляна шла, прижимая к груди пустую корзину, и ловила на себе взгляды. В деревне её знали. Знали, где служит.

У колодца судачили три бабы. Одна, та, что помоложе, с ребёнком на руках, говорила громко, перебивая остальных:

— Сказываю вам, третьего в лесу нашли. Пастуха, что коров гонял к Змеиному логу. Мёртвый. И лица нет.

— Разбойники? — охнула вторая.

— Какие разбойники? — Мужик с седой бородой, сидевший на перевёрнутой бадье, сплюнул в снег. — Тех уж месяц как не видать. Обозы ходят без опаски. А люди всё равно пропадают.

Иляна замедлила шаг. Мужик покосился на неё, узнал, отвёл глаза.

— Ты, девка, из замка? — спросил негромко.

— Да, — ответила она, сама не зная зачем. — За травами пришла.

— Ну-ну. — Он пожевал губами, переглянулся с соседом. — Травы — дело хорошее. А что господин твой? Не балует?

— Не балует, — проговорила она ровно.

— То-то ж. — Мужик поднялся, закинул бадью на плечо. — Молва про замок ваш дурная ходит. Ты бы поостереглась.

И пошёл прочь. Бабы у колодца замолкли.

Иляна двинулась дальше. Сердце колотилось. У травницы, старухи с коричневыми от соков пальцами, она долго перебирала пучки мяты, полыни, душицы, почти не различая запахов. Мысли крутились вокруг одного: «Третьего нашли. Разбойники пропали. А люди гибнут».

Перед глазами всплыло: колодец во дворе замка, ночь, факел на стене. Господин сливает воду на руки, и снег под его ладонями розовеет. Тёмные пятна на рукавах. Пальцы, которыми он только что она не знала, что именно. Знать не хотела.

Следом — другое. Голоса Марфы и Луки на кухне, ночью, после той охоты. Она лежала в людской, вслушивалась. «Всю шайку положил, — сухой, скрипучий голос дворецкого. — Шестерых, не меньше. Не позавидуешь тем, кто ему в лесу встретится».

Шестерых.

Людей.

Иляна перевела дыхание. Морозный воздух обжёг горло.

На обратном пути зашла к церкви. Та стояла на пригорке — низкая, тёмная, пахнувшая воском и сырым деревом. У входа переминался дьячок, молодой ещё, лет тридцати, с бегающими глазами и редкой бородкой. Увидел Илян, заулыбался:

— Из замка? Здрав будь, чадо. — Голос елейный. — Тяжело, поди, служить в таком месте?

— Терпимо, — ответила она.

— Терпимо, — повторил он, вздыхая. — А девку ту, что господин притащил, видала?

Сердце Иляны дёрнулось. Она молча кивнула.

— Худая? — Дьячок понизил голос. — Пустая, сказывают. Что он с ней делает-то? Для чего держит?

— Не знаю.

— Не знаешь, — протянул он. — А может, и знаешь, да говорить боишься. Господин-то — непростой. Вон и разбойники пропали. Люди в лес боятся ходить. А девка та, чужая, беззащитная, — кто ж за неё заступится?

Иляна молчала. Дьячок вздохнул, перекрестился:

— Ты, главное, молись. И если что — дай знать. Господь поможет, а мы подсобим.

Второй мужик — широкоплечий, с кузнечным фартуком поверх тулупа, — стоял у паперти и слушал молча. Перехватил взгляд Иляны, кивнул — хмуро, веско, будто подтверждая слова дьячка.

Иляна опустила голову и зашагала прочь.

Дорога на замок уходила в гору. Мороз крепчал, снег скрипел под сапогами, ветер обжигал щёки. Она брела, сжимая корзину, и думала о хude, которая по вечерам сидит с ней в людской, помогает барыне Марфе, и о той девке из замка с пустыми глазами. Синие платья на ней давеча новые, накидка медвежья, спросишь — молчит, кивает, ест помалу да всё на двери господина глядит. И господин — грубый, молчаливый, с руками в крови, которую смывал у колодца. И в лесу люди гибнут. И разбойников нет. И дьячок говорит: «Мы подсобим».

Она шла и боялась. За себя. За ту девку в синем платье. За то, что однажды ночью дверь распахнётся, и на пороге встанет господин с чёрными глазами и руками в крови, и спросит: «Кому сказала?»

У ворот замка остановилась, перевела дыхание. Корзина с травами оттягивала руки. Запах мяты перебивал все прочие запахи. Толкнула калитку, вошла.

И споткнулась о взгляд.

Влад стоял у колодца. Как в тот раз. Руки чистые. Рубаха сухая. Глаза те же — тёмные, неподвижные. Смотрел прямо на неё.

— Спасибо, — выдавила она, сама не помня за что.

Он кивнул — коротко, без слов, — и отвёл взгляд.

Иляна прошла в замок. Сердце колотилось. Внутри, в темноте людской, долго сидела на лавке, сжимая в кулаке пучок мяты, и повторяла про себя слова дьячка: «А мы подсобим». Молитва не помогала. Страх оставался — липкий, холодный, свивший гнездо под сердцем. Теперь к нему примешивалось что-то ещё — решимость, пока зыбкая, почти призрачная, но уже пустившая корень.

Она не знала, что с ней делать. Знала только: девку жалко. И терпеть дальше страшно.

В тот вечер Молчание пришла к его двери раньше обычного. Не колебалась, не замирала у створки — толкнула дерево и вошла.

В камине горел огонь. Влад сидел в кресле, разбирая бумаги, принесённые Лукой. Поднял голову, увидел её, отложил листы на подлокотник. Ждал.

Она опустилась на шкуру. Села ближе к креслу, чем прежде, — не у самого края, а там, где тепло доходило ровнее. Поджала ноги, положила руки на колени. Молчала. Пальцы теребили складку платья.

Прошло несколько минут, прежде чем заговорила.

— Алина, — выдохнула. — Помирилась.

Влад повернул голову.

— Простила, — добавила. Потом, помедлив: — Дурочкой назвала. Но не зло.

Он чуть приподнял бровь.

Она запнулась, подбирая слова. Губы шевельнулись беззвучно, затем снова:

— Булочки дала. С корицей. И чай.

Замолчала. В камине потрескивали поленья. Сидела, хмурясь, будто внутри оставалось что-то ещё, но оно никак не находило выхода. Наконец подняла глаза:

— Вы сказали — стыд в злость. И пройдёт. Прошло.

Выдохнула и добавила совсем тихо:

— Спасибо.

Влад смотрел на неё. Худая, в синем платье, пальцы всё ещё теребили ткань. Глаза глядели на него — без страха, но и без гладкости. Слова давались трудно, как шаги по глубокому снегу. И всё же она их сделала.

Что-то внутри дрогнуло.

— Я рад, — проговорил он. Голос глуховатый, но мягче обычного. — Что помирились.

Она кивнула, опустила взгляд. Он успел заметить: уголки губ дрогнули — не улыбка, её слабая тень.

Отвёл глаза к огню. Плечи, которые до того держал напряжёнными, отпустило.

Они просидели так до позднего вечера. Молчали. Тишина стояла полная — из тех, что больше не тяготят.

Когда она поднялась уходить, он вдруг спросил:

— Завтра придёшь?

И замолчал. Сам удивился. Вопрос вырвался прежде, чем он успел подумать, зачем его задаёт. Она не служанка, не подчинённая, отчитываться перед ним не обязана. У неё своя воля — то небольшое, что начало прорастать из сломанного.

Она обернулась.

— Да.

Дверь притворилась. Он остался у камина, глядя на догорающие угли. «Придёшь». С каких пор ему есть дело, придёт кто-то или нет?

Привык.

Странное слово. Он отвык от него ещё при жизни братьев. Привычка — удел смертных. У бессмертных привычек не бывает: всё проходит, всё стирается, ничто не держится дольше века. А тут — привык. К её молчанию. К тому, как она смотрит в огонь. К тому, что в комнате больше не пусто.

Покачал головой. Подбросил полено в камин. Пламя взметнулось, тени дрогнули на стенах. Думать об этом дальше не хотелось.

дверь постучали — негромко, сухо, костяшками. Так стучал только один человек в замке.

— Войди.

Лука просочился в щель, притворил створку за собой. Остановился у порога, сложил руки на животе. Лицо, напоминавшее печёное яблоко, выглядело серьёзнее обычного.

— Прости, что поздно, — проговорил он. — Дело есть.

Влад кивнул.

— Деревенские ропшут. — Лука говорил негромко, без лишних слов. — Люди пропадают в лесу. Третьего нашли на той седмице, пастуха. Лица нет. Обглодан.

Влад чуть развернул голову.

— Разбойники? — спросил коротко.

— Разбойников, — дворецкий помедлил, — больше нет. Сам знаешь почему.

Влад промолчал.

— Вот деревенские и думают на нас, — продолжил Лука. — На тебя то есть. Молва пошла — мол, господин лютует. Языки чешут.

— А на деле?

Лука сунул руку за пазуху, вытащил сложенный листок — зарисовку на клочке серой бумаги.

— Власий ходил к Змеиному логу вчера. Следы там. Крупные. Волчьи.

Положил бумагу на подлокотник. Влад взял, развернул, глянул на грубый набросок — отпечаток лапы в снегу. Не одиночка. Стая. Судя по глубине отпечатка, матёрая.

— Волки, — проговорил он без удивления. — Голодная зима.

— То-то и оно. Зверь лютует, а люд на господина грешит. Я уж и так и этак прикидывал — Лука запнулся, но Влад перебил:

— Я проверю лес.

Дворецкий поднял глаза.

— Власию скажи: пусть больше не суётся, — добавил Влад, возвращая бумагу. — Помрёт — его девка горевать будет.

Лука моргнул. Сухие губы дрогнули в слабой, почти незаметной усмешке.

— Скажу. Не полезет.

Поклонился и вышел — бесшумно, как умел только он. Дверь притворилась.

Влад остался у камина. Волки. Стая в зимнем лесу — дело серьёзное, но привычное. Зверя он не боялся. Другое засело в голове: деревенские шепчутся. Молва растёт. Ильяна ходит в деревню, возвращается молчаливая. Лука прав — языки чешут.

От Иляны последние дни разило горелым миндалём — он чуял этот запах всякий раз, когда она проходила мимо. Привык, что слуги боятся. За пять веков привык ко многому. Лишняя суета сейчас ни к чему.

Потёр переносицу. Лес проверить — значит, уйти на день-два. В январе солнце садится рано, темнота держится долго. Двух ночей хватит. Зверь внутри чуял предстоящую схватку и отзывался глухим, утробным предвкушением.

Хорошо бы вернуться с добычей. Волчья шкура — плотная, тёплая, с густым подшёрстком — пошла бы Молчанию. Медвежья накидка хороша, но тяжела. Волчий мех легче, мягче, ляжет по плечам, укроет от ветра. К её светлой коже подошёл бы.

Он поймал себя на этой мысли и осёкся. С каких пор его заботит, какая шкура пойдёт девчонке? С тех самых, ответил он себе. С тех самых, как она села у его камина и спросила, что такое «бабы».

—

Она пришла, как обещала. Толкнула дверь — и застыла на пороге.

В камине едва теплилась горстка углей, кресло пустовало. Медвежья шкура лежала на полу, тени стояли по углам. Запах горелого дерева ещё держался в воздухе, но уже выдыхался, смешиваясь с холодом, тянувшим из окна. Господина не было.

Молчание постояла, вглядываясь в полумрак. Переступила порог — один шаг, самый трудный, — и остановилась. Войти в покои без хозяина. У турок за такое секли. До сих пор помнила, как кричала соседка по бараку, когда её застали в господской комнате — просто застали, даже без кражи. Били долго. Та потом лежала три дня, отвернувшись к стене.

Отступила. Притворила дверь. Вернулась к себе.

Ночь тянулась глухая, беззвёздная. Лежала под шкурой, слушала тишину. Лишь перед рассветом в коридоре раздались шаги — тяжёлые, ровные. Прошли мимо. Стихли. Он вернулся. К ней не заглянул.

Утром сидела на краю постели и прислушивалась. Каждый звук в коридоре заставлял поднимать голову. Алина принесла завтрак — она почти не притронулась. Хлеб зачерствел к полудню, молоко подёрнулось плёнкой. День тянулся бесконечно. Выходила к его двери, стояла, водила пальцами по дереву — и возвращалась обратно. За дверью молчали. То ли он не выходил. То ли вышел затемно. То ли его вовсе не было.

К вечеру внутри скопилась тяжесть — глухая, неоформленная, без названия. Слова «тревога» она не знала. Просто чуяла: что-то не так. Пустота в груди, привычная все годы рабства, вдруг перестала быть привычной. Место, где прежде зияло ничто, теперь саднило.

Когда стемнело, снова пошла к его двери.

Угли в камине погасли. Холодный воздух стоял в комнате. Кресло пустовало. Шкура лежала нетронутой. Господина опять не было.

Попятилась. Сделала шаг назад, другой. И замерла.

Целый день ждала. Весь день вслушивалась. Он не пришёл. Может, и завтра не придёт. Может, ушёл надолго. Может, навсегда — так, как уходили все.

Пальцы сжали ткань платья. Стояла в тёмном коридоре, разрываясь надвое: тело кричало «не смей», в голове билось вчерашнее «придёшь?» и собственное «да». Он спросил. Она обещала. И его нет.

Медленно, будто ступая по битому стеклу, вошла. Опустилась на шкуру у холодного камина. Обхватила колени руками. В комнате стояла крошечная тьма — ни огня, ни свечи, лишь смутный отсвет звёзд из окна. Сидела, глядя в чёрный зев очага, и ждала. Просто ждала. Ничего другого не умела.

Тишина качала её, как вода. Веки налились свинцом. Плечо само привалилось к каменной кладке — та ещё хранила слабое тепло вчерашнего огня. Закрыла глаза. Сон подкрался неслышно, утянул в темноту — без сновидений, без страха.

—

Следы нашлись у Змеинового лога.

Влад спешил затемно, едва солнце ушло за вершины. Конь остался у ручья, привязанный к старой ели, — фыркал, переступал с ноги на ногу, чуял зверя. Дальше хозяин двинулся пешком. Снег лежал глубокий, нетронутый, каждый шаг давался с хрустом, пока он не перестроил тело — легче, тише, привычнее. Зверь внутри уже проснулся, раздвигал рёбра, но Влад пока держал его на коротком поводке. Всему своё время.

Склонился над первым отпечатком. Лапа широкая, когти глубоко вошли в наст — волк прыгал с разбега, догонял добычу. Рядом второй след, третий, четвёртый. Стая. Шесть, может, семь особей. Один отпечаток отличался от прочих: крупнее, левая лапа прочертила снег глубже, будто зверь подволакивал её. Вожак. Старый, битый. Такой не бросается первым — выжидает, пока молодые измотают жертву, и бьёт наверняка.

Влад провёл пальцем по краю следа. Снег ещё не затянуло настом, крошки не осыпались. Прошли недавно. Час, может, два.

Двинулся по цепочке.

Лес стоял тихий, морозный. Луна пока не взошла, звёздного света хватало: снег отражал его, делал деревья плоскими, силуэтными, будто вырезанными из чёрной бумаги. Запахи в морозном воздухе держались остро — смола, прелая хвоя, замёрзший мох, далёкий дым из деревенских труб. Сквозь них пробивался волчий мускус: тяжёлый, звериный, с кисловатой примесью падали. Стая кормилась недавно. Пастух, которого нашли обглоданным, оказался не первым.

След вёл в чащу, туда, где ельник смыкался сплошной стеной и снег лежал нетронутым. Влад шёл бесшумно, зверь внутри расправлял плечи, требовал выхода, и он отпустил поводок. Глаза залило чернотой — без белка, без зрачка. Когти прорезали кожу на пальцах, удлинились, заострились. Собственный запах изменился, стал чужим, хищным. В лесу прятаться незачем.

Стаю нагнал к полуночи.

Волки лежали в распадке, в тени старого бурелома, — серые тела на сером снегу, дыхание паром, уши настороже. Четверо молодых, две волчицы. Вожак — матёрый, с сединой на морде, левая лапа поджата. Спали не все: одна волчица, та, что помельче, вскинула голову, повела носом. Почуяла. Не поняла — не человека, не зверя, что-то третье, знакомое, — и заскулила, поджимая хвост.

Вожак поднялся. Шерсть на загривке встала дыбом. Глаза — жёлтые, старые, умные — уставились в темноту между деревьями, где стоял Влад. Зверь встретился взглядом со зверем.

Тишина длилась одно долгое мгновение. Пар от дыхания. Скрип снега под лапой — волчица попятилась. И тихий, едва различимый хруст — Влад сжал кулак, разминая когти.

Вожак зарычал — низко, утробно, сотрясая воздух. Стая вскочила.

Первый, молодой, бросился без команды — глупый, горячий, не знавший человека. Прыжок вышел мощным, но Влад уже ушёл вбок. Когти полоснули наискось — по горлу, по груди. Волк рухнул в снег, задние лапы ещё скребли наст, голова моталась безвольно. Кровь хлынула на белое, задымилась на морозе.

Второй атаковал слева. Влад перехватил его за шкуру, вздёнул вверх. Хруст позвонков — тихий, почти интимный, как треск сухой ветки под сапогом. Тело обмякло. Разжал пальцы, и волк упал мешком — тяжёлым, безжизненным.

Третий с четвёртым ударили разом, как учила стая: один в лицо, другой в ноги. Влад шагнул вперёд, внутрь атаки, — когти правой вспороли брюхо первому, левая перехватила второго за морду. Рванул в сторону. Волчий визг разрезал тишину, ослепший зверь закрутился на снегу, заливая наст чёрным. Вторым ударом Влад оборвал визг.

Пятая — волчица, та самая, что почуяла его первой, — бросилась бежать. Он настиг её в три прыжка. Удар в основание черепа. Волчица ткнулась мордой в снег, вытянулась, затихла.

Остался вожак.

Старый волк не бежал. Стоял у бурелома, скаля пасть. Левая лапа дрожала, но он не переносил на неё вес — ждал. Жёлтые глаза смотрели прямо в чёрные провалы, где не осталось ни человека, ни пощады.

Вожак прыгнул первым. Не в лицо, не в горло — вбок, туда, где у человека печень, где у зверя уязвимое место. Знал, куда бить. Клыки вошли в плечо — глубоко, до кости. Влад почувствовал, как рвётся ткань рубахи, как зубы смыкаются на ключице. Боли не было — только холод, только тяжесть волчьего тела. Он устоял. Сжал вожака в захвате, когти вошли под рёбра, пробили шкуру, мышцы, добрались до сердца. Рванул.

Волк рухнул в снег. Дыхание выходило толчками, кровь пузырилась на оскаленной пасти. Жёлтые глаза ещё смотрели — не на Влада, в небо, в звёзды, в никуда. Через минуту погасли.

Тишина.

Влад стоял над тушами, дыша глубоко, размеренно. Пар вырывался изо рта. Кровь на руках остывала, сворачивалась на морозе. Плечо, пробитое волчьими клыками, уже стягивалось — регенерация работала быстрее, чем у любого живого существа. К утру шрама не останется.

Опустился на корточки, вытер когти о снег — алые полосы легли на белое. Зверь внутри утихал, уходил вглубь. Глаза медленно возвращали белок. Когти втягивались в пальцы — кожа сомкнулась над ними, оставляя тонкие белые полосы, которые исчезнут к рассвету.

Свежевал быстро, умело. Шкуры снимал пластом, перетягивал ремнями, складывал в мешок. Мясо не тронул — волчье жёсткое, горьковатое, но деревенским сгодится. Голодная зима, всякий кусок в радость. А заодно — пусть увидят. Пусть убедятся: зверь лежит мёртвый, и господин из замка его убил. Может, меньше болтать станут.

Взвалил мешок на плечо и двинулся обратно.

Марфа, закутанная в платок поверх ночной рубахи, вышла на стук копыт. Увидела Влада — и только всплеснула руками. Лука появился следом, с фонарём, заспанный, но уже собранный.

Влад снял с коня мешок, бросил на дубовый стол. Шкуры вывалились грудой — серые, с белым подшёрстком, ещё хранившие лесной холод.

— Шесть, — сказал коротко. — Стая. Та, что резала людей.

Марфа перекрестилась. Лука наклонился, развернул одну шкуру, присвистнул:

— Вожак-то какой матёрый.

— Мясо в деревню, — продолжил Влад. — Разделайте. Что не продадут — обменяйте. Мука, зерно, инструмент. Сами распорядитесь.

— Добро, — кивнул Лука.

— Шкуры — на одежду. Часть на нужды замка. Часть — гостье. — Влад помедлил. — Что останется — купцам.

Марфа уже оглаживала серый мех:

— Волчья шкура — добрая. Лёгкая, тёплая. Ей на жилет пойдёт или на воротник. А то всё медвежья да медвежья — тяжёлая ведь.

Влад кивнул и двинулся к чёрному ходу.

Поднялся по лестнице. Мороз ещё держался на коже — редкое, забытое ощущение. Плечо, пробитое волчьими клыками, уже затянулось, только рубаха темнела прорехой и бурым пятном. Надо бы сменить. Успеется.

Толкнул дверь своих покоев.

В камине теплилась пара углей — слабый, умирающий свет. На шкуре у очага, привалившись плечом к каменной кладке, спала Молчание. Поджала колени к груди, сложила ладони под щеку. Волосы цвета древесной коры упали на лицо. Дышала глубоко, ровно. Ждала.

Влад замер на пороге.

Память подбросила нож в спину: рыжие волосы — яркие, как осенний костёр, — упрямый подбородок, босые ступни на тёплом полу. Заряна засыпала так же — у его очага, дожидаясь возвращения. Не боялась ни темноты, ни его самого. Просто засыпала. Потому что доверяла.

Молчание пока не доверяла. И волосы у неё другие — коричневые, цвета древесной коры, сейчас размётанные по меху. Но пришла. Сама. Вопреки всему, чему её учили. Вошла в его покои без приглашения, без страха. И уснула здесь, у холодного камина, дожидаясь его.

Он шагнул внутрь — беззвучно, точно тень. Стянул с кровати тёплую шкуру, опустился рядом с ней на корточки, укрыл — осторожно, едва касаясь. Она не проснулась. Только вздохнула глубже, повернулась щекой к теплу.

Сел на пол у камина — спиной к креслу, лицом к ней. Угли догорали, подёргиваясь пеплом. За окнами стояла глубокая январская ночь. Он смотрел на спящую.

Впервые за пять веков ему не хотелось встречать рассвет одному.

Она не проснулась, когда он поднял её со шкуры — лёгкую, как в первый раз, — и пронёс через тёмный коридор до её постели. Укрыл медвежьей полостью, поправил край у плеча и вышел, притворив дверь без единого звука.

Глава восьмая

Утро занялось морозное, ясное, с таким скрипучим снегом, какой бывает только в середине января. Алина спустилась на кухню затемно, как всегда, — растапливать печь, ставить тесто, разбирать вчерашнюю утварь. Марфа уже гремела горшками, Лука перебирал какие-то бумаги у стола. В углу, на дубовой столешнице, громоздилась груда волчьих шкур — серых, с белым подшёрстком, ещё пахнущих лесом.

Алина остановилась. Шкуры она заметила сразу, как вошла, — мимо таких не пройдёшь. Шесть. Может, семь. Под ними, на чистой тряпице, лежали разделанные куски мяса.

— Это откуда? — спросила, кивая на стол.

Лука поднял голову от бумаг.

— Господин ночью вернулся. Стаю волчью извёл — ту, что людей резала в лесу.

— Один? Целую стаю?

— Один.

Алина перевела взгляд со шкур на дворецкого, потом обратно. Шесть волков. Матёрых, судя по меху. Один человек — целую стаю. Она сглотнула. Не то чтобы боялась — скорее, не укладывалось в голове.

Лука тем временем вытер руки о передник и взял корзину.

— Давай-ка, бери мясо. Пойдёшь в деревню. Продашь или обменяешь — мука там, зерно, что дадут. Сама разберёшься.

Алина приняла корзину, но с места не двинулась.

— Лука, — проговорила тише. — А ты его совсем не боишься? Господина?

Старик помедлил. Отложил тряпицу, которой протирал стол, и опустился на лавку. Жестом указал ей место рядом. Она села, поставив корзину у ног.

— Я тебе, пожалуй, расскажу, — начал он, глядя куда-то в стену, будто видел там то, чего она не видела. — Ты девка толковая, язык за зубами держать умеешь. А молчать тут есть о чём.

Алина кивнула.

— Мне годков семь было. Может, восемь — уж и не помню. Деревня наша сгорела. То ли разбойники, то ли мор — память стёрла. Помню только, что остался один. Брёл по лесу. Зима стояла — вот как сейчас, мороз до костей. Есть нечего, идти некуда. Упал под сосной и лежал. Думал, всё, отплакался.

Замолчал, потирая сухие ладони. Алина слушала, не перебивая.

— Господин нашёл меня в снегу. Полуживого, зачоченевшего. Поднял, принёс в замок. Сам накормил, сам у огня усадил. Руки у него были тогда — Лука осёкся на мгновение, будто споткнувшись о память, но продолжил: — Большие. Тяжёлые. Однако он меня не ушиб. Сказал: «Отогреешься — иди куда хочешь. Худо ли нет, дурная молва про замок ходит. Остаешься — и тебя люди бояться будут».

— А ты? — спросила Алина.

— А я остался. Идти всё равно некуда было. Попросился помогать по замку. Так с тех пор и служу.

Помолчал и добавил:

— Много десятилетий, Алина. Много повидал. Господин наш непростой. Часть молвы, что про него ходит, — правда. Однако людей почём зря он губить не станет. И слуг своих в обиду не даст. Марфу вон взял — потому что о нас волнуется. Чтобы сыты были. Чтобы крыша над головой. Сам-то он — Лука усмехнулся краем губ, — ни разу не отведал того, что Марфа готовит. Ни единого куска. Всё, что она печёт и варит, — для нас. Для слуг. Для гостей. Для него — никогда.

Алина сидела тихо. В печи потрескивали дрова, Марфа гремела горшками у стены, делая вид, что не слушает, хотя ухо наверняка наостригла.

— Ладно, — сказал Лука, поднимаясь. — Засиделась ты. Иди. Мясо само себя не продаст.

Алина подхватила корзину и вышла.

Дорога в деревню лежала через лес — тот самый, где ещё вчера рыскала волчья стая. Теперь снег лежал чистый, нетронутый, лишь редкие птичьи следы пересекали наст. Алина шла, сжимая корзину, и думала. Не о волках — о господине. О том, что рассказал Лука. О мальчишке, брошенном в лесу. О руках, которые подняли его из снега и не ушибли. О еде, которую господин никогда не пробовал, но всегда следил, чтобы слуги оставались сыты.

И ещё — о той девушке. О гостье. Молчании.

Как та сидит целыми днями одна. Как ждёт его, когда он уходит или запирается у себя. Как мается, не зная, куда деть руки. Поговорить не с кем — Алина и сама вечно занята, Марфа при кухне, Лука при деле, а господин то в лесу, то в покоях. Девке тоскливо. Это даже Алина понимала, хоть и не умела облечь в слова.

В деревне встретили привычно — с оглядкой. Алина выложила мясо на прилавок у колодца, назвала цену. Подошли бабы, стали щупать куски, прицениваться.

— Волчье? — спросила одна, та, что помоложе. — Откуда?

— Хозяин стаю извёл, — ответила Алина без зла, просто как было. — Ту, что людей резала. Теперь пропадать не будете.

Бабы зашептались. Подошёл давешний мужик, тот самый, что прошлый раз про «дурную молву» говорил. Потрогал мясо, покачал головой:

— Один целую стаю положил? — В голосе сквозило недоверие пополам со страхом. — Как это — один?

— Так и положил, — отрезала Алина.

Мужик сплюнул в снег, но мясо взял. И другие потянулись — кто за монету, кто за муку, кто за горшок мёда. Разобрали быстро. Благодарили — и всё же с оглядкой. Крестились, отходя. Переглядывались. Алина видела эти взгляды. Видела, как старуха у колодца мелко перекрестила лоб, принимая кусок волчатины. Помогает — а всё равно страшно. Помощь от чудовища — двойная. И спасение, и подтверждение: бояться есть чего.

Из деревни Алина вышла с пустой корзиной — да не с пустой. Взамен мяса отсыпали муки, вручили горшок мёда, крынку топлёного масла, узелок с сушёными яблоками, два круга воска. Деревенские расщедрились — то ли от благодарности, то ли от страха, то ли от того и другого разом. Поклажа вышла тяжёлая, корзина оттягивала руки, и Алина шагала медленно, то и дело останавливаясь передохнуть.

Лес стоял тихий, морозный. Она присела на поваленный ствол у обочины, растёрла затёкшие пальцы. Пар от дыхания оседал инеем на воротнике. В голове крутилось всё разом: деревенские со своим страхом, Лука со своим рассказом, господин со своей молчаливой заботой. И гостья — худая, тихая, сидящая у холодного камина.

Из-за поворота послышался хруст снега. Алина подняла голову.

По дороге шагал Власий — в распахнутом тулупе, без шапки, волосы взъерошены. Завидев её, ускорил шаг.

— Ты чего одна? — спросил он вместо приветствия. — Я уж думал, вдвоём с кем пошла. Хозяин сказал: ступай, мол, не пожалеешь. А как оказалось — Лука тебя отправил!

— Лука, — подтвердила Алина, поднимаясь.

Власий взял у неё корзину, взвесил в руке, присвистнул:

— Ничего себе. Много деревенские надавали. Я думал, больше деньгами отсыплют, а тут вон — тащи на себе. Чего их не попросила помочь? Мужиков-то?

— Да ну их, — отмахнулась Алина. — Не нравятся они мне. Молвят, чего не знают. Языки дурные.

— Про хозяина?

— Про него.

Власий хмыкнул, перехватил корзину поудобнее и зашагал рядом.

— А ты сама-то? — спросил он, помолчав. — Раньше тоже боялась.

— Раньше — да. А теперь — Она запнулась, подбирая слова. — Лука мне рассказал. Про себя. Как господин его в лесу нашёл. Совсем мальцом.

— И что?

— И то. Не знаю, как сказать. — Помолчала. — Просто теперь по-другому смотрю.

Власий перехватил корзину поудобнее и вздохнул:

— Да хозяин и правда непростой. Порой как глянет — сердце стынет. Глаза у него бывают страшные. Прямо чёрные. Я как-то ночью вышел, ещё затемно, а он у колодца стоит. Обернулся — а глазниц-то и нет. Одни провалы. Я чуть коню под ноги не рухнул.

Алина покосилась на него, но промолчала.

— Однако ж — Власий потёр шею. — Как я Луке сказал про те следы волчьи, так он мне наутро: «Господин велел, чтобы ты в лес больше ни ногой. Помрёшь — девка твоя горевать будет». Так и сказал. Про девку. Про тебя то есть.

Алина споткнулась на ровном месте, уставилась на него. Власий шагал дальше как ни в чём не бывало.

— Я чего говорю-то, — продолжил он. — Он же не просто так. Он же заботится. По-своему, конечно. Молча. Но заботится.

Алина кивнула. Вспомнилось вдруг: господин в ярости, стол пополам, как щепка. Она того не видела, но Марфа рассказывала. А потом — другое: как он на медведя ходил. Один. Чтобы шкуру добыть гостю на накидку. Не для себя — для неё. Молча, без просьб, без похвалы. Просто пошёл и принёс.

— Помню, — проговорила тихо. — Стол разломил. В гневе. Как щепку. А потом за медведем пошёл. Чтобы ей накидку сшили.

Власий покосился, но промолчал.

Так они и дошли до ворот замка. Власий понёс корзину на кухню, а Алина осталась во дворе.

К вечеру в ней созрело. То, что ещё утром казалось невыносимым: пойти к господину. Самой. С разговором.

Она нашла его в кабинете — том, что примыкал к его покоям. Влад сидел за столом, разбирая бумаги Луки. Поднял голову, увидел Алину на пороге. Та не мялась — стояла прямо, руки сложены, подбородок задран. Пальцы, сжимавшие край передника, побелели. И запах — слабый, едва уловимый, но знакомый: соль, разогретая на солнце. Страх. Боялась, хоть и храбрилась изо всех сил.

— Чего тебе? — спросил он ровно.

Алина набрала воздуха.

— Господин. Я про гостью поговорить хотела. Про Молчание.

Он отложил бумаги. Молча ждал.

— Обучите вы её грамоте, — выпалила она. — Я понимаю, мы люди простые. Неграмотные. У нас работа, кров, еда — нам хватает. А она ждёт вас днями. Вы уходите — она ждёт. Запирается — ждёт. Поговорить не с кем, заняться нечем.

Перевела дух и продолжила, уже смелее:

— Книг в замке много. Вы их все перечли, вон сколько тут. — Кивнула на полки. — Обучите её. Пусть хоть читает. В книгах умных слов хватает, глядишь, и жизни повидает.

Замолчала. В кабинете повисла тишина.

Влад смотрел на неё — долго, пристально, с тем самым тяжёлым взглядом, от которого Ильяна цепенела. Запах соли усилился. Алина выдержала взгляд. Пальцы всё ещё сжимали передник.

— Боишься, — проговорил он. Не вопрос — констатация.

Алина вскинулась. Храбрилась — значит, надо храбриться до конца. Ногой топнула — не сильно, но звонко.

— Боюсь! А что ж теперь? Не съедите вы меня. Вон Луку не съели. И меня не съедите.

Влад чуть приподнял бровь, но промолчал. Она, осмелев, продолжила:

— Вы, простите конечно, ледышка. Холодный. Молчаливый. Порой глянете — сердце стынет. А девку жалко. У неё ни друзей, ни знаний. Хоть по книгам разберёт, что к чему. А то придёт какой деревенский свататься, а она его палкой огреет. Как моего Власия.

Рука Влада, лежавшая на столе, сжалась. Дерево под пальцами хрустнуло. Трещина побегала по столешнице — тонкая, быстрая, как молния. Алина вздрогнула, умолкла.

В кабинете снова повисла тишина, теперь другая — звонкая, натянутая. Влад смотрел на треснувшее дерево, на побелевшие костяшки собственных пальцев. «Свататься». «Огреет». «Моё».

Странное, забытое чувство шевельнулось внутри. Тёмное. Собственническое. Ревность? Глупость. Какая ревность к тому, кого нет? Но мысль о том, что кто-то — деревенский, чужой, не знающий её — придёт и протянет руку, заставила зверя внутри глухо заворчать.

Он разжал пальцы. Медленно выдохнул.

— Смелая. И правда в твоих словах есть.

Алина перевела дух — только сейчас заметила, что не дышала.

— Так что? — спросила тише.

— Хорошо. Начнём завтра.

Она выдохнула. Поклонилась — коротко, без подобострастия, — и вышла за дверь, прежде чем он успел передумать.

В коридоре прислонилась к стене. Сердце колотилось так, что отдавало в висках. Внутри разливалось тепло — не от печи, не от чая. От того, что сделала. От того, что смогла.

Вечером Молчание снова пришла, как всегда, — толкнула дверь, вошла, опустилась на шкуру у камина. Поджала ноги, положила руки на колени. Молчала. Он сидел в кресле, смотрел в огонь.

Всё было как прежде. И всё — иначе.

Влад смотрел на неё иначе. Не просто видел — разглядывал. Худая, в синем платье, волосы цвета древесной коры заплетены в неловкую косу. Пальцы теребили край платья — привычка, от которой она, кажется, не избавится никогда. Сидела тихо, как всегда. Теперь он замечал то, чего прежде не видел: как она чуть наклоняет голову, когда пламя выбрасывает сноп искр. Как дыхание замедляется, когда тепло доходит до плеч. Как стала ближе к его креслу — уже не у края шкуры, а на расстоянии вытянутой руки.

«Моё».

Слово, которое он сам себе не разрешал. Пять веков ничто не было его — ни земли, которые он защищал когда-то, ни замок, в котором жил, ни люди, которых спасал. Всё уходило. Всё обращалось прахом. Братья, отец, Заряна — он помнил их лица яснее, чем собственное отражение, но удержать не мог никого. Всех потерял.

А теперь — «моё».

Глупость. Какая глупость. Она не вещь, он сам ей это сказал. Она не принадлежит никому — ни туркам, ни ему. И всё же при мысли о том, что кто-то чужой может прийти, протянуть руку, назвать её по имени, внутри что-то сжималось. Тёмное. Древнее. То, что он считал давно отмершим.

Огонь трещал. Тени дрожали на стенах. Молчание сидела, не зная, о чём он думает. Просто была рядом — этого хватало.

Наконец он заговорил.

— Молчание.

Она подняла глаза. Он по-прежнему смотрел в огонь.

— Ты хотела бы научиться читать?

— Читать? — переспросила тихо.

— Буквы складывать в слова. Слова — в истории. В замке много книг. Я мог бы научить. Тогда ты сама решала бы, что хочешь прочесть. Что узнать.

Она молчала. Пальцы замерли на складке платья. Читать. Книги. Истории. Слова, которые она могла бы разбирать сама, без его подсказок. Целые миры, спрятанные за переплётками. И он спрашивает. Не приказывает — спрашивает.

— Да, — выдохнула она. — Хочу.

Он кивнул.

— Тогда завтра начнём.

В камине догорали угли. Она поднялась уходить — и у двери задержалась. Обернулась.

— Спасибо, господин.

Он чуть качнул головой.

— Это Алине спасибо. Храбрая дуреха. Пришла, ногой топнула. За тебя просила.

Молчание замерла у двери. Алина. Та, что ворчала и приносила платья. Та, что назвала дурочкой, но не зло. Та, что не побоялась господина.

— Она хорошая, — сказала тихо.

— Хорошая, — согласился он. — И заботливая. Даже меня не побоялась.

В его голосе мелькнуло что-то — не насмешка, скорее суховатая теплота, какой Молчание прежде не слышала. Она не знала, как назвать это чувство. Просто запомнила.

Дверь притворилась. В камине догорали угли. Влад ещё долго сидел, глядя в огонь, и думал о том, как странно иногда поворачивается жизнь — даже такая длинная, как у него.

На следующий вечер Влад достал с полки книгу в потёртом кожаном переплёте — тяжёлую, с металлическими уголками и застёжкой, потемневшей от времени. Положил на стол. Молчание сидела у камина, но теперь не просто смотрела в огонь — ждала, поглядывая на стол, на книгу, на него.

— Иди сюда, — позвал он.

Она поднялась, подошла. Остановилась у края стола.

— Садись.

Опустилась на стул напротив. Спина прямая, руки на коленях, пальцы теребят складку. Влад отстегнул застёжку, раскрыл книгу. Страницы пожелтели, пахли старым воском и сухой кожей, но чернила держались крепко. Ровные строки, выведенные старательной рукой, — буквы с алыми завитками, заставки, тонкая вязь.

— Это кириллица, — сказал он. — Сорок четыре буквы. Каждая — не просто звук. У каждой имя. Первая зовётся «Аз». Означает «я». — Он тронул пальцем крупную буквицу в начале строки. — Видишь — три черты, перекрестие. Это основа.

— Аз, — повторила она едва слышно.

— Вторая — «Буки». — Палец скользнул дальше. — От неё пошло слово «буква». Похожа на раскрытую книгу.

— Буки.

— «Веди». Означает «ведать», «знать». Два крючка.

— Веди.

Он вёл её по строке медленно, давая разглядеть каждую букву. «Глаголь» — похожа на клюку. «Добро» — дом с покатой крышей. «Есть» — простая, как ладонь. Она повторяла имена беззвучно, одними губами, и каждое ложилось в память, как камень в стену.

— Теперь попробуй сама.

Подвинул к ней лист бумаги, подал перо. Молчание взяла его неуверенно, сжала всей ладонью. Влад накрыл её пальцы своими — холодное прикосновение, она вздрогнула, но руку не отдернула.

— Тремя пальцами. Указательный, средний, большой. Легче. Перо — не топор, давить не нужно.

Разжал пальцы. Она попробовала сама — перо легло иначе, непривычно. Кончик царапнул бумагу, оставляя кривую, дрожащую «Аз». Перекрестие съехало вниз, черты разъехались.

— Криво, — прошептала она.

— Сойдёт. Пиши «Буки».

Вывела ещё одну. Потом ещё. К третьей «Аз» перекрестие почти не съезжало. К пятой черты стояли ровно. Молчание отложила перо, посмотрела на лист. Пять «Аз». Кривых, дрожащих — и всё же её собственных.

Влад перевернул страницу книги. Там, после буквиц, шли первые строки:

— «Азь есмь. Ты еси. Онъ есть», — прочёл он вслух. — Первое, что давали писарям. «Я есть. Ты есть. Онъ есть».

Она смотрела на строки, на незнакомые буквы, которые вдруг перестали быть просто значками. Я. Ты. Он. Три слова. Три жизни. Она сама, он, и кто-то третий, пока неведомый.

— Прочти, — сказал он.

Склонилась над страницей. Палец упёрся в первую букву.

— Аз — выдохнула. — Азь есмь.

Подняла глаза. Он смотрел на неё — не как учитель на ученицу, мягче.

— Хорошо, — сказал он.

Одно слово. Она прикрыла глаза на мгновение, запоминая его звук.

Азь есмь. Я есть. Самое простое и самое трудное из всего, что ей доводилось узнавать.

Ильяна несла стопку свежего белья наверх, в господские покои. Марфа велела разложить по шкафам, пока господин занят и не станет попадаться под ногами. В коридоре горел единственный факел, тени дрожали на камне. Она шла быстро, привычно перебирая ногами, и уже миновала кабинет, когда услышала голоса.

Дверь была приоткрыта. Не настужь — на ладонь.

В кабинете горели свечи. Господин сидел за столом, спиной к двери. Рядом — она. Гостя. В синем платье, с пером в пальцах. Склонилась над листом, выводила что-то. Из-под пера выползали кривые чёрные значки.

— будешь брать Молчание и помогать, — донёсся голос господина. — При сбережении. Пусть посмотрит, как замком управлять.

Ильяна замерла. Брать. Помогать. Сбережение. Работа. Господин заставляет её работать. Худую, бледную, ту, что ещё месяц назад лежала пластом. У неё и сил-то нет, а он уже нашёл, куда пристроить.

Попятилась. Бельё прижала к груди, дыша через раз. За дверью продолжали говорить, но она больше не слушала. Услышанного хватило: девушку заставляют работать. Ту самую, что сидит с пустыми глазами и вздрагивает от каждого шороха. Ту, что господин приволок из турецкого лагеря, — и теперь запрягает, как рабочую лошадь.

Жалость, та самая, что тлела в груди последние недели, вспыхнула с новой силой. Страх почти не осталось — только горечь и глухое, бессильное возмущение. Ильяна развернулась и зашагала прочь, забыв про бельё.

Когда урок

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.